

100.0 pt. 1-9 0 doit

HET IN A TEM

5348



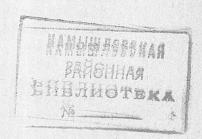
7(3)

way thous VA

ю. Айженвальдъ

СПОРЪ о ББЛИНСКОМЪ

ОТВЪТЪ КРИТИКАМЪ



891

A-37

MOCKBA - 1914.

Типографія и цинкогр. т./д. «М ы с и ь» (Н. П. Месиникинъ и Ко), Москва, Петровка, 17.



Мой очеркъ о Бѣлинскомъ («Силуэты русскихъ писателей», вып. III, изд. второе) вызваль очень рѣзкіе возраженія и протесты. И поскольку они составляють проявленіе оскорбленной любви къ Бѣлинскому, я ихъ понимаю, цѣню, и мнѣ самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитаго критика я сдѣлалъ больно искреннимъ почитателямъ его памяти. Но, разумѣется, иначе поступить я не могъ, потому что обязанъ былъ сказать свою правду, чего бы это ни стоило другимъ.

Однако, въ томъ возмущеніи, какое встр'єтиль мой силуэть. большую роль сыграли также непомърный консерватизмъ и слишкомъ почтительное отношение къ авторитетамъ-то «литературное идолопоклонство», съ которымъ боролся когда-тооказывается, не вполнъ успъшно-самъ Бълинскій и о которомъ онъ такъ хорошо говорить въ своихъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»: «...Мы и въ литератур'в высоко чтимъ табель о рангахъ... Говоря о знаменитомъ писателъ, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о немъ ръзкую правду, у насъ-святотатство. И добро бы еще это было вслъдствіе убъжденія! Нъть, это просто изъ нелъпаго и вреднаго приличія или изъ боязни прослыть выскочкою, романтикомъ... Знаете ли, что наиболъе вредило, вредить и, какъ кажется, еще долго будеть вредить распространенію на Руси основательныхъ понятій о литературѣ и усовершенствованій вкуса? Литературное идолопоклонство! Дъти, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленнымъ богамъ нашего многолюднаго Олимпа и нимало не заботимся о томъ, чтобы справляться почаще съ метриками, дабы узнать, точно ли небеснаго происхожденія предметы нашего обожанія».

Дъйствительно, уже первый откликъ на мою статью, фельетонъ П. Н. Сакулина въ Русскихъ Въдомостяхъ («Бълинскій—миоъ», отъ 3 окт. 1913 г.) содержитъ въ себъ прямое запрещеніе спорить о Бълинскомъ и относиться какъ-нибудь иначе къ нему, чъмъ благоговъйно. «Его (Бълинскаго) мъсто давно уже опредълено нелицепріятнымъ судомъ исторіи; его имя—свято. Давно уже Бълинскій находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать въ хулу Бълинскому, уже сказано гораздо ранъе г. Айхенвальда. Развънчать Бълинскаго нельзя»: вотъ что заявляетъ уважаемый авторъ.

Слишкомъ понятно, какъ въ устахъ ученаго странны, опасны и нелиберальны эти душныя слова. Въдь для науки нътъ никого святого, наука не канонизируеть, и заколдованнымъ кругомъ, «чертой досягаемости», она изъ своихъ предметовъ не обводить ничего. Если считать Бълинскаго иконой, святымь, и если думать, что исторія сказала о немъ послъднее, окончательное слово (хотя у науки послъднихъ словъ не бываеть), то въ такомъ случат, но только въ такомъ, я въ самомъ дълъ виноватъ уже тъмъ, что ръшился посмотръть на него собственными глазами. Если Бълинскому можно лишь молиться («его имя свято», или, какъ до П. Н. Сакулина сказалъ Некрасовъ: «учитель, передъ именемъ твоимъ позволь смиренно преклонить колѣни»), то о немъ вообще нельзя и разговаривать; и въ такомъ случав, но только въ такомъ, г. Сакулинъ, со своей религіозной точки зрънія, правъ, если моя характеристика для него не характеристика, а «хула», если моя статья для него не статья, а «поступокъ» (да еще «невъроятный»), если я не просто свое мнъніе высказаль, а «осмълился посягнуть» на тънь прославленнаго критика, если я всъмъ этимъ возбудилъ его «моральное негодованіе».

Правда, П. Н. Сакулинъ въ только что появившейся второй статъв своей «Психологія Бълинскаго» (Голосъ минувшаго,

IV, 1914 г.) говоритъ, что онъ «позволилъ себъ» употребить слова, которыя я выше подчеркнулъ,—въ иномъ смыслъ, именно въ томъ, что хотя «можно и даже должно продолжать изученіе» Бълинскаго, «но въ основномъ исторія уже произнесла свой приговоръ о немъ»; и объявлять, будто Бълинскій—легенда, низводить его «на степень мелкой душонки и плохого журналиста» (квалификація не моя) такъ же странно, какъ нелъпо было бы «сводить къ нулю Ломоносова или Пушкина». Изъ этой поправки видно, что въ первый разъ П. Н. Сакулинъ свою подлинную мысль выразилъ очень дурно,—совершенно не тъми словами. Кромъ того, въ Голость минувшаго онъ не объяснилъ, какъ же надо въ Русскихъ Втодомостяхъ понимать «хулу», «невъроятный поступокъ», «осмълился посягнуть», «моральное негодованіе»: этихъ выраженій своихъ г. Сакулинъ и не истолковаль, и не взяль обратно.

Н. Л. Бродскій въ статьъ «Развънчанъ ли Бълинскій»? (Въстникъ Воспитанія, І, 1914) тоже называеть мои обвиненія послъдняго «кощунственными», точно Бълинскій—Богъ или божественъ.

Свободу изслѣдованія почти всѣ оппоненты мои ограничивають и тѣмъ, что мои взгляды на Бѣлинскаго пытаются опорочить ссылкой на авторитеты, т. е. на тѣхъ, по большей части, выдающихся и знаменитыхъ людей, которые Бѣлинскаго прославляли. Такъ, П. Н. Сакулинъ напоминаеть, что славу нашего критика творили Станкевичъ, Герценъ, Тургеневъ, Кавелинъ, кн. В. Ө. Одоевскій, Некрасовъ, Ап. Григорьевъ и мн. др.: «все это—люди, которыхъ изъ десятка не выкинешь»; въ опроверженіе моей мысли объ умственной несамостоятельности Бѣлинскаго онъ, между прочимъ, апеллируетъ даже и къ школьному учителю его, М. М. Попову, и къ «постороннему наблюдателю», Лажечникову, которыхъ «еще въ дѣтствѣ поражалъ» Бѣлинскій «упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума». Такъ, г. Евг. Ляцкій въ статьъ «Господинъ Айхенвальдъ около Бѣ-

линскаго» (Современникъ, I, 1914) сообщаеть, что среди людей, пламенно и любовно относившихся къ Бълинскому, «были лица, во всякомъ случат не уступавшія» мнт «въ критической проницательности и чуткости» (Некрасовъ, Тургеневъ, Герценъ, Гончаровъ). Такъ, Н. Л. Бродскій, хотя и «проходитъ мимо» отмъченнаго П. Н. Сакулинымъ признанія учителя М. М. Попова, но «проходить мимо» такимъ образомъ, что объ этой педагогической оцънкъ все-таки упоминаетъ, а, главное, свое убъждение въ умственной независимости Бълинскаго онъ тоже обосновываетъ цитатами изъ Станкевича, Кавелина, Панаева, Клюшникова, Одоевскаго, Тургенева, Бакунина. Правда, г. Бродскій предупреждаеть меня, что онъ это д'влаеть не «изъ почтительнаго реверанса передъ авторитетами», а потому, что слова лицъ, непосредственно общавшихся съ Бълинскимъ, «на корню видъвшихъ его», должны звучать для меня гораздо убъдительнъе, чъмъ только его, г. Бродскаго, собственныя слова, его личное мнъніе, которое-де можеть показаться мнъ «бездоказательнымъ, «субъективнымъ», пристрастнымъ».

Мнѣ отъ души жалко, что скромность Н. Л. Бродскаго ввела его здѣсь въ глубокое заблужденіе: какъ разъ наобороть, малодоказательными для исторіи литературы, субъективными и пристрастными я считаю именно сужденія о Бѣлинскомъ его друзей, собесѣдниковъ и пріятелей, а безпристрастнымъ и не-«субъективнымъ» счелъ бы самостоятельное мнѣніе о немъ г. Бродскаго, который, понятно, съ Бѣлинскимъ лично не былъ знакомъ, а, подобно мнѣ, знаетъ только его писанія и его письма, отчего и можетъ судить о его литературной дѣятельности объективно, «научно», внѣ личной симпатіи или антипатіи.

Третьи лица въ тяжбъ за Бълинскаго вообще ни при чемъ; я ихъ ръшительно отвожу и на этой позиціи боя не принимаю. Въ своемъ силуэтъ я не считался съ тъми, кто Бълинскаго хвалитъ, но зато не опирался и на тъхъ, кто его осуждаетъ; я позволилъ себъ стать съ Бълинскимъ лицомъ къ лицу, безо всякихъ посредниковъ: это—мое право, и мнъ

всегда хочется пить изъ своего стакана, хотя и маленькаго. Убъжденъ, что въ интересахъ умственной гигіены такъ же точно поступаютъ и мои противники. Вотъ почему не выраженіемъ духовнаго бюрократизма и мъстничества, а только непослъдовательностью съ ихъ стороны я признаю то, что, напримъръ, г. Ляцкій своему отвъту на мою статью даетъ презрительное заглавіе: «Господинъ Айхенвальдъ около Бълинскаго» или что г. Ивановъ-Разумникъ тоже позволяетъ себъ дешевое удовольствіе глумленія, трижды играя на сопоставленіи именъ: Виссаріонъ Бълинскій и Юлій Айхенвальдъ.

Прежде чъмъ меня опровергать, критики моего силуэта устанавливають, что мое пониманіе Бълинскаго далеко не ново. «Нъть ни одного новаго факта... Аргументація—самая избитая, которой уже не разъ пользовались разные хулители Бълинскаго»—утверждаеть П. Н. Сакулинъ. Ему вторить Н. Л. Бродскій: «Факты, указанные имъ» (т. е. мною), не новы, да и характеристика не блещеть свъжестью». «Хоть бы одно новое доказательство, хоть бы одинъ оригинальный аргументь, хотя бы новое освъщеніе старыхъ извъстныхъ фактовъ! Ни того, ни другого, ни третьяго»—огорченно восклицаетъ г. Ивановъ-Разумникъ («Правда или кривда?» въ Завътахъ, ХІІ, 1913 г.).

Въ самомъ дѣлѣ,—новыхъ фактовъ въ моемъ распоряженіи не было; да ихъ, впрочемъ, и не могло быть, потому что не открыты были какія-нибудь новыя сочиненія Бѣлинскаго. А если, какъ заявляють мои оппоненты, я не далъ даже новаго освѣщенія старыхъ фактовъ, если я говорю о Бѣлинскомъ нѣчто избитое и несвѣжее, то становится совершенно непонятнымъ,—изъ-за чего же поднять весь этотъ шумъ вокругъ моей статьи, изъ-за чего же излился на меня весь этотъ фіалъ негодованія?

Нъкоторые мои противники сами видять, что здъсь есть какая-то непослъдовательность, и стараются оправдать ее.

Такъ, если мой очеркъ «поразилъ» г. Бродскаго, то потому, что «слишкомъ неожиданно было увидътъ г. Айхенвальда среди раболъпствующихъ публицистовъ, отступниковъ или людей, ослъпленныхъ партійной страстью, не могшихъ понять, на кого неслись ихъ хулы».

Это замѣчаніе, въ свою очередь, поражаетъ меня: въ своей рецензіи Н. Л. Бродскій, не только за мой силуэтъ Бѣлинскаго, но и за мои писанія вообще, даетъ мнѣ, какъ литератору, такую уничтожающую характеристику, такъ черно рисуетъ мой нравственный авторскій обликъ, такъ неумолимо отказываетъ мнѣ даже въ писательской честности и чувствѣ общественности, и чувствѣ правды, что лишь въ силу противорѣчія съ самимъ собою могъ онъ изумиться, увидѣвъ меня въ дурномъ обществѣ.

Г. Ивановъ-Разумникъ тоже, поговоривъ о моей статъѣ, потомъ спрашиваетъ себя, стоило ли о ней вообще говорить. На свой вопросъ онъ отвѣчаетъ утвердительно: «Стоило, и по многимъ причинамъ. Главная изъ нихъ, какъ это ни странно, та, что широкая масса «читающей публики» знаетъ и Бѣлинскаго и вообще нашихъ классиковъ только по наслышкъ и по школьнымъ воспоминаніямъ... Вотъ почему и статья г. Ю. Айхенвальда можетъ для нихъ (для широкихъ читающихъ круговъ) оказаться вполнѣ по плечу: субъективныя «импрессіи» этого критика, который терпѣть не можетъ Бѣлинскаго, покажутся этимъ читателямъ объективной истиной».

Съ этимъ я согласенъ: не многіе знаютъ Бѣлинскаго,—даже не всѣ изъ его защитниковъ (я не говорю о спеціалистахъ по исторіи литературы). И г. Ивановъ-Разумникъ вполнѣ правъ, если, думая, что моя характеристика знаменитаго критика инымъ покажется объективной истиной, какъ разъ поэтому («главная причина») не замалчиваетъ ея, а разрушаетъ.

Мои оппоненты вообще правы въ томъ, что взглядъ мой на Бълинскаго вовсе не представляетъ въ нашей литературъ какой-то новости, какой-то неслыханной ереси (на это, впро-

чемъ, я въ данномъ случаѣ, какъ и въ остальныхъ, даже и не притязалъ: меня никогда не интересуетъ, новы ли мои воззрѣнія или нѣтъ,—были бы вѣрны). Нехорошо только то, что мои противники, хотя и непреднамѣренно, вызываютъ у несвѣдущихъ читателей такое представленіе, будто о Бѣлинскомъ дурно отзывались одни лишь дурные—обскуранты, «раболѣпствующіе публицисты, отступники», «ослѣпленные партійной страстью», «Шевыревъ, Булгаринъ, Погодинъ и компанія», тѣ, которые, по неизящному выраженію г. Иванова-Разумника, «много лѣтъ подрядъ жевали старую жвачку о «недоучившемся студентъ» ¹).

На это я скажу: во-первыхъ, ни Шевырева, ни Погодина, ни Полевого я къ обскурантамъ и отступникамъ не причисляю; во-вторыхъ, среди отрицателей Бълинскаго есть люди, которыхъ къ темному стану Россіи не припишутъ и мои критики.

И прежде всего я назову два великихъ имени: Толстой и Достоевскій.

«Ну, какія мысли у Бълинскаго! — пренебрежительно заявиль Толстой въ 1903 году сотруднику «Южнаго Телеграфа»: сколько я ни брался, всегда скучаль, такъ до сихъ поръ и не прочелъ» («Книжный Въстникъ» 1903 г. № 3)  $^2$ ).

Въ книгъ В. Лазурскаго «Воспоминанія о Л. Н. Толстомъ» на стр. 37 воспроизводится такой отзывъ Толстого: «Бълинскій—болтунъ; все у него такъ незръло. Правда, у него есть и хорошія мъста; онъ—способный мальчикъ... Но если Бълинскаго и другихъ русскихъ критиковъ перевести на иностранные языки, то иностранцы не станутъ читатъ: такъ все это элементарно и скучно».

<sup>1)</sup> Только П. Н. Сакулинъ (и только во второй своей статьъ) приводитъ въ краткихъ выдержкахъ немногіе образцы отрицательныхъ сужденій о Бълинскомъ—то, что въ нъкоторыхъ случаяхъ онъ называетъ «дерзкими выдазками».

<sup>2)</sup> Эту цитату, какъ и ту дальнъйшую, которая относится къ Ю. Самарину, я беру изъ книги С. Ашевскаго «Бълинскій въ оцънкъ его современниковъ», стрр. 318, 64—66.

Я сознаюсь: тягостно какь-то цитировать извъстныя письма Достоевскаго къ Страхову (1871 г.), но мои критики вынуждають меня къ этому; да и въ интересахъ дъла — напомнить то мнъніе Достоевскаго о Бълинскомъ, которое выражено въ интимной формъ частнаго письма и потому содержить въ себъ наибольшую мъру искренности.

Достоевскій пишеть: «Б'єлинскій (котораго вы до сихъ поръ еще цъните) именно былъ немощенъ и безсиленъ талантишкомъ, а потому и прокляль Россію и принесь ей сознательно столько вреда (о Бълинскомъ еще много будеть сказано впослъдствіи, воть увидите)... Я обругаль Бълинскаго болъе, какъ явленіе русской жизни, нежели лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни. Одно извиненіе — въ неизбъжности этого явленія... Вы никогда его не знали, а я зналъ и видълъ и теперь осмыслилъ вполнъ... Онъ былъ доволень собой въ высшей степени, и это была уже личная смрадная, позорная тупость. - Вы говорите, онъ былъ талантливъ. Совсъмъ нътъ, и, Боже! какъ навралъ о немъ въ своей статьъ Григорьевъ! Я помню мое юношеское удивленіе, когда я прислушивался къ нъкоторымъ чисто-художественнымъ его сужденіямъ (наприм., о «Мертв. душахъ»); онъ до безобразія поверхностно и съ пренебреженіемъ относился къ типамъ Гоголя и только разъ былъ до восторга, что Гоголь обличиль. Здъсь, въ эти 4 года, я перечиталъ его критики. Онъ обругалъ Пушкина, когда тотъ бросилъ свою фальшивую ноту и явился съ повъстями Бълкина и съ Арапомъ. Онъ съ удивленіемъ провозгласилъ ничтожество повъстей Бълкина. Онъ въ повъсти Гоголя Коляска не находилъ художественнаго цъльнаго созданія и повъсти, а только шуточный разсказь. Онъ отрекся отъ окончанія «Евгенія Онъгина». Онъ первый выпустиль мысль о камерь-юнкерствъ Пушкина. Онъ сказалъ, что Тургеневъ не будетъ художникомъ, а между тъмъ это сказано по прочтеніи чрезвычайно значительнаго разсказа Тургенева «Три портрета». Я бы могъ вамъ набрать такихъ примъровъ сколько угодно, для доказательства неправды его

критическаго чутья и «воспріимчиваго трепета», о которомъ вралъ Григорьевъ (потому что самъ былъ поэтъ). О Бълинскомъ и о многихъ явленіяхъ нашей жизни судимъ мы до сихъ поръ еще сквозь множество чрезвычайныхъ предразсудковъ».

Я не върю, чтобы кн. Вяземскій, другь Пушкина, писатель яркаго ума, талантливый, въ сужденіяхъ независимый и оригинальный, не быль искренень и руководился литературными или партійными счетами, когда такъ послѣдовательно отвергалъ Бълинскаго и не находилъ въ себъ терпънія «дочитывать до конца ни одной изъ его ужасно-длинно-много-пустословныхъ статей». Въ свою записную книжку онъ вносить такія строки: «Есть у насъ грамотьи, которые печатно распинаются за геніальность Бълинскаго. Нътъ повода сомнъваться въ добросовъстности ихъ, а еще менъе заподозръвать ихъ смиренномудріе; стараться же вразумить ихъ и входить съ ними въ преніе — дъло лишнее; имъ и книги въ руки, т. е. книги Бълинскаго, Бълинскій здъсь въ сторонъ; онъ умеръ и успокоился отъ тревожной, а можетъ быть и трудной жизни своей. Онъ служиль литтературъ, какъ могъ и какъ умълъ. Не онъ виновать въ славъ своей, и не ему за нее отвътствовать. Глядя на посмертныхъ почитателей его, нельзя не задать себъ вопроса, до какихъ безконечно-малыхъ крупинокъ должны снисходить умственныя способности этихъ господъ, которые становятся на ципочкахъи карабкаются на подмостки, чтобы съ благоговъніемъ приложиться къ кумиру, изумляющему ихъ своею величавою высотою» (Полное собраніе сочин. кн. П. А. Вяземскаго, VIII, 139). По поводу воспоминаній о Бълинскомъ Тургенева пишетъ кн. Вяземскій Погодину: «Оставимъ Тургеневу превозносить Бълинскаго, идеалиста въ лучшемъ смыслю слова, какъ онъ говоритъ... Приверженецъ и поклонникъ Бълинскаго въ глазахъ моихъ человъкъ отпътый, и просто сказать пътый дуракъ... Тургеневъ просто хотълъ задобрить современныя предержащія власти журнальныя и литтературныя. Въ стать в его есть отсутствие ума и нравственнаго

достоинства. Жаль только, что это напечатано въ «Въстникъ Европы» (X, 265).

Благородный Юрій Самаринъ даетъ слѣдующую удивительно мъткую характеристику Бълинскаго, - и прекрасный, учтивый тонъ ея еще больше оттъняется послъдовавшимъ на нее грубымъ отвътомъ нашего критика. Бълинскій, по Самарину, «почти никогда не является самимъ собою и ръдко пишетъ по свободному внушенію. Вовсе не чуждый эстетическаго чувства (чему доказательствомъ служать особенно прежнія статьи его), онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, живетъ въ долгъ. Съ тъхъ поръ какъ онъ явился на поприщъ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и ръшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогъ, которая наконець обратилась въ нормальное состояние и помъщала развитію его способностей. Конечно, заимствованіе само по себъ не только безвредно, даже необходимо; бъда въ томъ, что заимствованная мысль, какъ бы искренно и страстно онъ ни предавался ей, все-таки остается для него чужою: онъ не успъваеть претворить ее въ свое достояніе, усвоить себъ глубоко, и къ несчастью усваиваеть настолько, что не имъеть надобности мыслить самостоятельно. Этимъ объясняется необыкновенная легкость, съ которою онъ мѣняеть свои точки зрвнія и міняеть безплодно для самого себя, потому что причина перемънъ – не въ немъ, а внъ его. Этимъ же объясняется его исключительность и отсутствіе терпимости къ противоположнымъ мнѣніямъ; ибо кто принимаетъ мысль на въру, легко и безъ борьбы, тоть думаеть такъ же легко навязать ее другимъ, и р'вдко признаеть въ нихъ разумность сопротивленія, котораго не находить въ себъ. Наконецъ, въ въ этой же способности увлекаться чужимъ заключается объясненіе его необыкновенной плодовитости. Собственный запась убъжденій вырабатывается медленно, но когда этоть запась

берется уже подготовленный другими, въ немъ никогда не можетъ быть недостатка. Разумъется, при такого рода дъятельности, талантъ писателя не можетъ возрастать».

Тотъ же Юрій Самаринъ на высокую оцівнку Бізлинскаго Герценомъ отозвался словами пушкинскаго Донъ-Жуана передъ статуей Командора: «Какія плечи! что за Геркулесъ! А самъ покойникъ малъ былъ и тщедушенъ!»

Да, правъ Самаринъ: всегда памятники больше покойниковъ...

Можно было бы еще много процитировать отрицательныхъ мнѣній о Бѣлинскомъ, произнесенныхъ умными и чистыми людьми, видными дѣятелями русской культуры.

Насколько своимъ силуэтомъ я не сказалъ о Бълинскомъ чего-то неслыханно дерзостнаго и для спеціалистовъ неожиданнаго, легко усмотръть и изъ того, что незадолго до моей статьи, въ 1912 году, появилась въ Н.-Новгородъ книжка П. И. Вишневскаго: «Н. В. Гоголь и В. Г. Бълинскій», гдъ отведены послъднему вполнъ осуждающія страницы и дъятельность его охарактеризована какъ «сплетеніе лжи, краснобайства и фразерства» (стр. 139). Правда, у большинства рецензентовъ книжка г. Вишневскаго встрътила пренебреженіе; но это еще не говоритъ противъ нея.

Всѣ эти чужія слова я привожу совсѣмъ не въ подтвержденіе своихъ (какъ я уже сказалъ, мнѣ чужого не надо), а въ опроверженіе той мысли моихъ оппонентовъ, будто отрицаніе Бѣлинскаго является признакомъ раболѣпствующаго обскурантизма и отжило свой вѣкъ.

Иныхъ критиковъ моихъ, напримъръ—г. Ч. В—скаго (Въстникъ Европы, XII, 1913 г.), особенно поразило то, что я не вижу въ Бълинскомъ, какъ я выразился, «органическаго либерализма, тъхъ предчувствій и влюбленныхъ чаяній свободы, которыя такъ обязательны для высокой души, и особенно для души молодой». П. Н. Сакулинъ по этому поводу изумляется, что

я хочу «быть plus royaliste, que le roi»; г. Ч. В—скій иронически называеть меня «свободолюбивымъ» (хотя я ръшительно не могу припомнить, гдъ, когда и въ чемъ проявилъ я несвободолюбіе).

Въ связи съ этимъ важно исправить одну существенную логическую ошибку П. Н. Сакулина. Условно соглашаясь на минуту съ моимъ пониманіемъ Бѣлинскаго, онъ спрашиваеть, чымь же въ такомъ случат объяснить славу нашего критика: «Можеть быть, панегиристы Б'єлинскаго страшно увлеклись, цѣня его либерализмъ? Вѣдь у насъ есть эта замашка — расхваливать человъка за либеральный образъ мыслей». И на свой вопросъ г. Сакулинъ отвъчаетъ: «Нътъ, и эта причина не объясняеть намь дёла: Ю. И. Айхенвальдь уб'єжденно говорить, что «Виссаріонъ Отступникъ», эта сума переметная, былъ либераломъ весьма сомнительнаго свойства». Такъ вотъ, логическая ошибка моего рецензента — въ томъ, что онъ смъщиваетъ здъсь панегиристовъ Бълинскаго со мною: я-то, дъйствительно, думаю, что Бълинскій быль сомнительный либераль, но панегиристы его думали и думають противоположное; оттого, ясное дъло, мое отрицаніе либерализма въ Б'єлинскомъ не можетъ служить опроверженіемъ гипотезы, что другіе создавали ему славу именно за предполагаемый либерализмъ.

А самую гипотезу эту, недовърчиво предложенную П. Н. Сакулинымъ, я, съ своей стороны, признаю очень правдоподобной. Я глубоко убъжденъ, что самой значительной долей своихъ лавровъ Бълинскій обязанъ своей репутаціи либерала (и даже радикала); и если бы не этотъ катехизисъ русскаго либерализма, знаменитое письмо къ Гоголю (какъ разъ его, по свидътельству Ив. Аксакова, многіе учителя знали наизусть, какъ разъ оно лежало у нихъ «будто Евангелье»), — Бълинскій далеко не пользовался бы такою славой, и я не встрътиль бы изъ-за него столько безпощадныхъ противниковъ.

Я всецъло соглашаюсь съ замъчаніемъ П. Н. Сакулина: «у насъ есть эта замашка — расхваливать человъка за либеральный образъ мыслей»; и то я очень одобряю, что въ под-

твержденіе своего взгляда онъ цитируеть самого Бълинскаго — изъ того же письма къ Гоголю: «у насъ въ особенности награждается общимъ вниманіемъ всякое, такъ называемое, либеральное направленіе, даже и при бъдности таланта», и «скоро падаетъ популярность великихъ талантовъ, искренно или неискренно отдающихъ себя въ услуженіе православію, самодержавію и народности». «И публика тутъ права» (я нъсколько продолжаю сдъланную П. Н. Сакулинымъ цитату)... «всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простить ему зловредной книги. Это показываетъ, сколько лежитъ въ нашемъ обществъ, хотя еще въ зародышъ, свъжаго, здороваго чутья, и это же показываетъ, что у него есть будущность».

Я только считаю гибельной ошибкой со стороны Бълинскаго, что этому явленію онъ сочувствуеть, а не вооружаєтся противь него всей душою. Ибо тяжкіе удары нашей культуръ нанесь и наносить этотъ хорошо подмъченный и, къ несчастью, привътствуемый Бълинскимъ фактъ; ибо нътъ большаго гръха противъ идеальныхъ цънностей, чъмъ такое вопіющее искаженіе оцьнокъ, такое униженіе таланта, такая подмъна эстетики публицистикой; ибо до сихъ поръ страдаетъ наша мысль отъ этой духовной фальсификаціи. И то, что Бълинскій не былъ либераломъ въ истинномъ смыслъ слова, т. е. что у него не было широты духа и настоящей духовной свободы,—это я утверждаю между прочимъ и на основаніи какъ разътой цитаты, которую, въ невольный ущербъ Бълинскому, привель П. Н. Сакулинъ.

И какъ одну изъ типичныхъ иллюстрацій того рокового недоразумѣнія, которое, въ его фактической сути, замѣтили В. Г. Бѣлинскій и П. Н. Сакулинъ и укрѣпленію котораго первый необычайно способствовалъ своимъ примѣромъ, — я выпишу сужденіе г. Евг. Ляцкаго изъ его статьи противъ меня: «Хотя я далеко не связываю поклоненія г. Айхенвальда идеалу чистаго искусства съ равнодушіемъ къ той общественной атмосферѣ, среди которой этотъ культъ является какъ бы

синонимомъ удаленія отъ шума житейской борьбы на горныя вершины созерцанія и воздыханія, тѣмъ не менѣе я беру на себя смѣлость утверждать, что между отрицаніемъ тріединой формулы у г. Айхенвальда и непріемлемостью для него «публицистическихъ» стремленій Бѣлинскаго есть нѣчто необъяснимое, недоказанное, быть можетъ, даже... нѣчто недодуманное».

Дъйствительно, здъсь есть недодуманность, -- но, кажется, не съ моей стороны. Если я отрицаю «тріединую формулу», то я обязанъ принять публицистическое отношение Бълинскаго къ искусству: вотъ та умственная узость, которой хотълъ бы отъ меня г. Ляцкій; ея отсутствіе — воть что кажется ему чьмъ-то необъяснимымъ и недодуманнымъ. Что можно исповъдовать политическій либерализмъ и въто же время не требовать и не хотъть отъ искусства публицистики, этого не допускаетъ г. Ляцкій. Что между равнодушіемъ къ общественности и любовью къ «идеалу чистаго искусства» (точно есть какое-нибудь другое) не существуеть внутренней и необходимой связи, — эта азбука и до сихъ поръ остается недоступной для обитателей идейной тъсноты. И такъ какъ я безусловно не причисляю къ нимъ Е. А. Ляцкаго, то я и удивляюсь, какъ это онъ «береть на себя смівлость» утверждать то, что **утверждаетъ.** 

Мои оппоненты страстно оспаривають и то мое указаніе, что Бѣлинскій не быль послѣдовательно либералень не только въ томь широкомъ смыслѣ, о которомъ я говорилъ выше, но и въ спеціальной сферѣ общественности. На мои слова: «вопреки молодости, нарушая ея психологическіе нравы, онъ не съ протеста, не съ отрицанія началь, а съ политическихъ утвержденій»... и на другія мои слова: «при первомъ же своемъ серьезномъ выступленіи, въ знаменитыхъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»,.. въ тяжелую и темную пору нашей жизни... юноша-Бѣлинскій, не задумываясь, дѣлается рапсодомъ» уваровской формулы, «знаменитыхъ сановниковъ», «просвъщеннаго и благодѣтельнаго правительства», — на это

всё критики, кромѣ г. Ляцкаго, въ одинъ голосъ и прежде всего отзываются, что я забылъ про «Дмитрія Калинина» (П. Н. Сакулинъ употребляетъ даже такое выраженіе, что я объ этой драмѣ и «не заикаюсь»). Н. Л. Бродскій называетъ пьесу Бѣлинскаго «пламеннымъ памфлетомъ противъ «офиціальной» дѣйствительности»; г. Ивановъ-Разумникъ находитъ, что въ «Дмитріи Калининѣ» Бѣлинскій выражаетъ «самые «протестующіе» взгляды»; критикъ Русскаго Богатства (П, 1914 г.) г. А. Дерманъ мою мысль, что Бѣлинскій началъ съ политическихъ утвержденій, тоже опровергаетъ ссылкой на его трагедію и категорически освѣдомляетъ, что она «послужила причиной увольненія автора изъ университета».

Мив неизвъстно, является ли по своей научной спеціальности историкомъ литературы г. Дерманъ; если—нътъ, то вполнъ простительно, что онъ не читалъ или не запомнилъ такого ничтожнаго литературнаго памятника, какъ «Дмитрій Калининъ», и съ чужого голоса передаетъ ми въ о причинъ увольненія Бълинскаго изъ университета. Но мнъ хорошо извъстно, что какъ историки литературы достойно работаютъ у насъ въ наукъ П. Н. Сакулинъ, Ивановъ-Разумникъ, Ч. Вскій, Н. Л. Бродскій. И поэтому то, что они опираются въ данномъ случав на «Дмитрія Калинина», удивляетъ меня и огорчаетъ несказанно. Разберемся.

Н. Л. Бродскій полагаеть, будто упрекь въ неупоминаніи «Дмитрія Калинина» я, быть можеть, попытаюсь отразить ссылкой на то, что не имѣлъ въ виду чисто-литературныхъ произведеній Бѣлинскаго, а говорилъ о немъ, лишь какъ о критикѣ. Этотъ мой возможный аргументь, по г. Бродскому, отпадаеть, такъ какъ въ своемъ силуэтѣ я касался-де Бѣлинскаго цѣликомъ, — да такъ и надо дѣлать: вѣдь не писалъ же я самъ «только о стихотвореніяхъ Тютчева — указывалъ и на политическія статьи его» (мимоходомъ исправлю фактическую ошибку моего рецензента: я не указывалъ на политическія статьи Тютчева, а разбиралъ только стихотворенія его, — между прочимь, и политическія; такимъ образомъ, я не за-

служилъ здѣсь, чтобы мнѣ ставили въ примѣръ меня самого).

Почтенный критикъ не угадалъ, какъ я буду защищаться. Если бы я хотълъ прибъгнуть подъ сънь формальныхъ довоновь, я могь бы опереться на то, что въ стать я говориль о «политических» утвержденіяхь», — а всь согласятся, что ужь во всякомъ случав политическихъ отрицаній въ «Дмитріи Калининъ» нътъ; что я говорилъ о «первомъ серьезномъ выступленіи», — а всъ согласятся, что дътскій, ниже литературной критики стоящій, наивный «Дмитрій Калининъ» не серьезенъ. Но я не прикрою себя этими соображеніями, а напомню, что трагедія Бълинскаго, по существу, по своей идет и по своему центральному содержанію, вовсе не представляеть общественнаго протеста. Не въ этомъ смыслъ пьесы, не въ этомъ ея паносъ, не этимъ она вооружила противъ себя цензоровъ. Тамъ есть отдъльныя риторическія филиппики противь рабства, противъ пом'вщичьей тираніи, но самая сильная изъ нихъ, слова Дмитрія: «Кто далъ это гибельное правооднимъ людямъ порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище - свободу? Кто позволилъ имъ ругаться правами природы и человъчества? Господинъ можеть, для потъхи или для разсъянія, содрать шкуру съ своего раба; можеть продать его какъ скота, вымънять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь съ отцомъ, съ матерью, съ сестрами, съ братьями, и со всѣмъ, что для него мило и драгоцънно!»... эта горячая отповъдь героя сопровождается и охлаждается слъдующимъ примъчаніемъ Бълинскаго: «Къ славъ и чести нашего мудраго и попечительнаго правительства, подобныя тиранства уже начинають совершенно истребляться. Оно поставляеть для себя священнъйшею обязанностью пещись о счастіи каждаго челов'тка, вв'треннаго его отеческому попеченію, не различая ни лиць, ни состояній. Доказательствомъ сего могутъ служить всв его поступки и, между прочимъ, Указъ о наказаніи купчихи Аносовой за тиранское обхожденіе съ своею дѣвкою и городничаго за допущеніе онаго, напечатанный въ 77-мъ № Московскихъ Вѣдомостей за 1830 годъ, 24 день сентября. Этоть указъ долженъ быть напечатанъ въ сердцахъ всѣхъ истинныхъ Россіянъ, умѣющихъ цѣнить мудрыя распоряженія своего правительства, напоминающія слова нашего знаменитаго, незабвеннаго Фонъ-Визина: «Гдѣ Государь мыслитъ, гдѣ знаетъ Онъ, въ чемъ его истинная слава — тамъ человѣчеству не могутъ не возвращаться права его; тамъ всѣ скоро ощутятъ, что каждый долженъ искатъ своего счастія и выгодъ въ томъ, что законно, и что угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ есть беззаконно».

Не только знатокъ, но и богомолецъ Бълинскаго съ его «великимъ сердцемъ», С. А. Венгеровъ, по моему, совершенно правъ, когда говоритъ объ этомъ примѣчаніи, что «было бы величайшей ошибкой» думать, будто оно «есть лукавство и можетъ быть приравнено къ тѣмъ, мало кого вводившимъ въ заблужденіе, примѣчаніямъ», которыя въ 60-хъ годахъ дѣлали изъ цензурныхъ соображеній. Къ этому прибавляетъ г. Венгеровъ: «Бѣлинскій во всю свою жизнь не написалъ ни одного лукаваго слова и славословилъ только тогда, когда весь былъ переполненъ славословія». Въ 1831 г., утверждаетъ нашъ комментаторъ, Бѣлинскій былъ «безконечно «благонамѣренъ», ультра-«благонамѣренъ», и къ общему строю русскаго государственнаго уклада относился съ полнымъ одобреніемъ» (Сочиненія Бѣлинскаго, подъ ред. Венгерова, т. І, стр. 129).

Примъчаніе Бълинскаго только подтверждаеть, что центрь идейной тяжести въ «Дмитріи Калининъ» находится вовсе не въ гражданскомъ протестъ. Средоточіе пьесы — кровосмъщеніе. Брать становится любовникомъ сестры (невъдомо для себя). Потомъ онъ убиваеть своего брата (тоже не зная, кто его жертва). Потомъ онъ убиваетъ свою любовницу-сестру, по ея просъбъ, чтобы ея не выдали замужъ за другого. Потомъ, наконецъ, онъ убиваетъ самого себя. Такъ не этотъ ли отталкивающій сюжеть, не это ли ужасное кровосмъщеніе и кровопролитіе заставили московскихъ профессоровъ

(тогдашнюю цензуру) признать сочиненіе мальчика-студента «безнравственнымъ, безчестящимъ университетъ» (такими словами самъ Бълинскій формулируетъ отзывъ своихъ судей)? И неужели послъднихъ не обезоружило бы примъчание автора къ тирадъ героя; неужели оно, на ряду съ другими штрихами, не показало бы имъ того, что впослъдствии увидълъ историкъ литературы, т. е. что политически студентъ-трагикъ былъ «ультра - благонамъренъ», «безконечно - благонамъренъ»? И развъ намъ извъстно, чтобы они, эти профессора, были такими завзятыми и злобными кр постниками, что для нихъ невозможно было простить юношъ того возмущенія тиранствомъ, которое, по его же искреннимъ словамъ, всецъло раздъляло само «мудрое и попечительное правительство»? Къ тому же, нападки противъ дикаго обращенія съ крѣпостными не могли звучать, хотя бы послъ Фонвизина, возмутительной новостью и крамолой.

Бълинскій въ предисловіи къ своей пьесѣ ни однимъ словомъ не намекаеть на ея общественный характеръ, и не слышится тамъ даже болѣе общій протестъ — противъ міровой несправедливости, противъ неба и религіи. Нѣтъ, онъ написалъ свое произведеніе «изъ чистаго, безкорыстнаго побужденія выразить этотъ внутренній міръ самого себя, этотъ міръ собственныхъ мыслей и чувствованій, возбуждаемыхъ въ немъ созерцаніемъ этой чудесной, гармонической, безпредѣльной вселенной, въ которой онъ обитаетъ, назначеніемъ, судьбою человѣка, сознаніемъ его нравственнаго величія».

Эпиграфомъ къ пьесъ авторъ выбираетъ стихи Пушкина: «и всюду страсти роковыя, и отъ судебъ защиты нътъ», — и этимъ тоже отвътственность за несчастья героя опредъленно перелагаетъ съ Россіи на судьбу и роковыя страсти.

Когда Дмитрій, испов'вдуясь своему другу Сурскому, разсказываеть, что онъ овлад'ыль Софьей безъ в'ынчанія, такъ какъ не «согласіе родителей» и «пустые обряды», а «одна только природа соединяеть людей узами любви», то Сурскій этимъ глубоко возмущается, признаеть его поступокъ «гнуснымъ», называетъ Калинина «обольстителемъ, нарушителемъ чести», считаеть его «злодвемь, подлецомь (хотя и неумышленнымъ)», убѣждаетъ его, что онъ долженъ былъ побороть свою страсть, отказаться оть Софьи, идти въ военнную службу, «въ коей или палъ бы на полъ брани, какъ слъдуетъ истинному сыну отечества, и вмъстъ съ горестною жизнію окончилъ бы и мученія свои, или бы отличился храбростью, покрыль себя славою, пріобръль чины, достоинства и титла, которые столько уважаются всѣми». «Кто тебѣ далъ право — вопрошаеть Сурскій—назвать Софью своею женою безъ приличныхъ и необходимыхъ для сего обрядовъ»? И что же? Всъ эти благонамъренныя ръчи очень скоро, въ продолжение того же діалога, вполнъ убъждають Дмитрія; онъ отказывается отъ своего пренебреженія къ обрядамъ, отъ влад'ввщаго имъ только что сознанія своей правоты (какъ это характерно для будущаго Бълинскаго!). «Торжествуй: ты правъ! ты правъ! Но для чего ты открываешь мнѣ глаза»... восклицаетъ нашъ герой съ открытыми глазами. Точно также, если въ пьесъ прозвучить иногда какъ бы кощунственная нота («А Ты, Существо Всевышнее, скажи мнъ: насытилось ли моими страданіями, натышилось ли моими муками?..»), то и герой въ испугъ и ужасъ перебиваеть самого себя, свою дерзкую ръчь, и туть же кается, и самъ авторъ немедленно принимаетъ свои мъры и къ словамъ, похожимъ на хулу, дълаетъ примъчаніе, искренне защищающее «чистыя струи религіи и нравствености».

Вообще, Бълинскій въ своей трагедіи, какъ и во всей своей дальнъйшей литературной дъятельности, каждому яду готовить противоядіе, каждой ръчи—противоръчіе, нейтрализуеть самого себя и вырываеть жало у своихъ отрицаній. Это съ его стороны совсъмъ не умыселъ: это — его мышленіе.

Такимъ образомъ, невинное негодованіе Дмитрія противъ рабства и тираніи, его горячность, его послъдній кликъ: «свободнымъ жилъ я, свободнымъ и умру»—все это ни въ какомъ случаъ не можетъ быть понято въ смыслъ опредъленнаго протеста, и если, напримъръ, г. Бродскій (на 29-ой стр. своей

статьи-брошюры) находить несовмъстимымъ исповъданіе формулы: «православіе, самодержавіе и народность» съ содержаніемъ «Дмитрія Калинина», то это-простое недоразумѣніе, которое сейчась же разсвется, если «Дмитрія Калинина» прочесть. Скоръе тріединый символъ этой въры берется тамъ подъ защиту. Какъ произведеніе гражданственнаго характера, пьеса . Бълинскаго, по меньшей мъръ, безцвътна и безразлична; и показательны въ этомъ отношеніи слова Дмитрія, что Софья «въ одно и то же время трепетала при имени Брута, какъ великаго мученика свободы, какъ добродътельнаго самоубійцы, и при имени Сусанина, запечатлъвшаго своею кровію върность царю»; а Софья, въ свою очередь, говорить, что лицо Дмитрія пылало и глаза его сверкали, когда онъ читалъ о защитникахъ свободы и о Сусанинъ, который «жертвовалъ за царя своею жизнью». Того, кто писаль такія строки, профессорская цензура обвинить въ политической неблагонадежности не могла, и я повторяю, что въ пьесъ юноши должны были цензоровъ смутить и возмутить совсъмъ другіе мотивы, именно-ть, которые были признаны безнравственными; и поскольку тему о нечаянномъ, правда, кровосмъщении брата и сестры можно считать безнравственной, постольку цензора были правы.

Такъ вотъ—причины, по которымъ я при оцънкъ общественности Бълинскаго счелъ возможнымъ не принимать въ разсчетъ «Дмитрія Калинина», гдъ объ чаши гражданственныхъ въсовъ приведены въ равновъсіе.

Да и гдѣ же, наконецъ, объективныя основанія, которыя позволяли бы утверждать, какъ это дѣлаютъ гг. Дерманъ и Ивановъ-Разумникъ, что Бѣлинскій былъ уволенъ изъ университета за свою пьесу, что онъ «поплатился» за нее? Вѣдь самъ Бѣлинскій пишетъ своимъ родителямъ, что хотя о «Дмитріи Калининѣ» «составили журналъ, но послѣ это дѣло уничтожено» и ректоръ сказалъ ему, бѣдному автору, что о немъ «ежемѣсячно будутъ ему подаваться особенныя донесенія». Дъло уничтожено. Въ письмѣ къ матери такъ о своемъ уволь-

неніи сообщаєть нашъ юный трагикъ: «я не буду говорить вамъ о причинахъ моєго выключенія изъ университета: отчасти собственные промахи и нерадѣніе, а болѣе всего долговременная болѣзнь и подлость одного толстаго превосходительства». Впослѣдствіи, въ письмахъ къ разнымъ корреспондентамъ, Бѣлинскій тоже ни разу, говоря о своємъ увольненіи, не ссылаєтся на «Дмитрія Калинина», какъ на причину университетской катастрофы: «а я такъ и просто былъ выгнанъ изъ университета за лѣность и неуспѣхи» (Бѣлинскій, Письма, 1914 г., I, стр. 87); «выгнанный изъ университета за лѣность студентъ» (Письма, I, стр. 345).

Инспекторъ и профессоръ Московскаго Университета Щепкинъ, котораго мы не имъемъ права подозръвать въ недобросовъстности, доносить помощнику попечителя, «представляеть во вниманіе его превосходительства», что «Б'єлинскій, самъ чувствуя свое безсиліе для продолженія наукъ, просиль, въ 1831 году, уволить его отъ университета и опредълить въ канцелярскіе служители», но что сл'єдовало бы, не исполняя этой просьбы, совстыть «уволить его отъ университета по слабому здоровью и притомъ по ограниченности способностей». Если бы у Щепкина были другія основанія, если бы онъ имълъ въ виду неблагонамъренность Бълинскаго, проявленную имъ будто бы въ «Дмитріи Калининъ», то изъ-за чего же инспекторъ объ этомъ умолчалъ бы и что же помъщало бы ему въ офиціальной и, въроятно, конфиденціальной бумагъ поддержать свое ходатайство объ увольненіи студента ссылкой на его политическую неблагонамъренность, «представить о семъ во вниманіе его превосходительства»? Развѣ такого рода аргументы не являются для ихъ превосходительствъ самыми убъдительными и ръшающими?

Правда, А. Н. Пыпинъ свидътельствуетъ, что по всъмъ отзывамъ, какіе ему приходилось читать и слышать, трагедія сыграла свою «положительную роль въ исключеніи Бълинскаго изъ университета».

Такимъ образомъ, самое большое, что можетъ иной пред-

положить, только предположить, это—что, по слухамъ, «Дмитрій Калининъ» извъстную роль въ увольненіи Бълинскаго сыгралъ. Но какъ это далеко отъ категоричности гг. Дермана и Иванова-Разумника! И я лично, пока мнъ не представятъ фактовъ, что причина или что даже одна изъ причинъ увольненія Бълинскаго—«Дмитрій Калининъ», имъю право въ это не върить, и этимъ правомъ я пользуюсь.

Я такъ задержался на вопросѣ о «Дмитріи Қалининъ» не только ради необходимой самообороны, но и для того, чтобы на этомъ примѣрѣ показать, какъ неосновательно приписываютъ Бѣлинскому «самые «протестующіе» взгляды» (выраженіе г. Иванова-Разумника), какъ неточно разсказываютъ его біографію и какъ вообще созидается то, что я назвалъ легендой о Бѣлинскомъ.

Въ подтверждение своего взгляда, что либерализмъ Бълинскаго, какъ и все его міровоззрѣніе, отличается большой неустойчивостью, я между прочимъ указалъ на ту его страницу (отзывъ о IV книгѣ «Сельскаго Чтенія»), гдѣ онъ, послъ знаменитаго письма къ Гоголю, въ 1848 году, опять славитъ «благотворное» вліяніе «просвѣщеннаго» русскаго правительства и «въ отношеніи къ внутреннему развитію Россіи» считаетъ царствованіе своего государя «самымъ замѣчательнымъ послѣ царствованія Петра Великаго».

Г. Евг. Ляцкій фактически-невърно утверждаеть, будто я свое мнъніе о сочувственной поддержкъ Бълинскимъ русскаго шовинизма и офиціальныхъ каноновъ обосновываю на этой «одной фразъ», «придравшись» къ ней: здъсь мой рецензентъ просто невнимательно прочиталъ меня; и оттого, поблагодаривъ г. Ляцкаго за выраженную имъ увъренность, что я только «не разобрался» въ «эзоповскомъ» стилъ Бълинскаго, а не допустилъ «завъдомой подмъны одного пониманія другимъ»,—поблагодаривъ его за этотъ великодушный отказъ отъ обвиненія меня въ подлогъ, я въ данномъ пунктъ спорить

съ нимъ не буду, а выясню намъченный вопросъ по рецензіямъ гг. Ч. В—скаго и Бродскаго. Впрочемъ, и г. Бродскій не прибавляєть ничего новаго сравнительно съ тъмъ, что говорить объ этомъ г. В—скій, и оттого я позволю себъ ограничиться отвътомъ только послъднему.

А г. Ч. В-скій говорить, что моя ссылка на приведенныя слова Бълинскаго-«злостный попрекъ» и что, въ противность моему «ядовитому подчеркиванію», «никакого этическаго противорѣчія» между письмомъ къ Гоголю и отзывомъ о «Сельскомъ Чтеніи» нътъ. По существу г. Ч. В-скій выясняеть, что поразившія меня слова Бѣлинскаго получають въ контекстъ его статьи иной характеръ: они вызваны-де слухами о предстоявшемъ освобожденіи крестьянъ, о знакахъ вниманія со стороны Николая І министру государственныхъ имуществъ гр. Киселеву, стороннику эмансипаціи, и написаны, повидимому, какъ и весь отзывъ, «лишь ради радостнаго намека» на ожидавшуюся реформу. А если бы не такъ, то, очевидно, г. Ч. В-скій согласился бы со мною въ оцівнкі этихъ строкъ Бълинскаго: въдь мой оппонентъ и самъ замъчаеть, что «послъ революціоннаго, если угодно, письма къ Гоголю» прославленіе въ печати самодержавія было бы непослѣдовательно: «подумаешь, дѣйствительно, какая отталкивающая неустойчивость!»

Г. Ч. В—скій защищаеть Бълинскаго оть того, въ чемъ я даже его не обвиняль, и потому бьеть мимо цъли. Я ни словомъ, ни намекомъ, ни попрекомъ не указываль на этическое противоръчіе между письмомъ къ Гоголю и рецензіей на «Сельское Чтеніе»; къ яду, ироніи, злости и прочимъ страстямъ вовсе я и не долженъ былъ прибъгать для выраженія той простой и прямой мысли, какую я высказалъ. А высказалъ я то, что Бълинскій свои прежніе охранительные мотивы смънилъ затъмъ, особенно въ письмъ къ Гоголю, совершенно другими звуками, «страстной лирикой трибуна», но что ни въ какомъ случаъ нельзя поручиться, чтобы она была у него окончательной, и недаромъ уже послъ этой лирики

онъ опять славилъ «благотворное» вліяніе «просв'єщеннаго» русскаго правительства и т. д. Какъ я думалъ и думаю, что Б'єлинскій вообще ненадеженъ, такъ, на почв'є моего общаго изученія и пониманія его д'єятельности, я и по этому поводу выразился въ томъ же дух'є—именно, что нельзя ручаться за прочность его радикализма, и въ одно изъ подтвержденій своей мысли привелъ упомянутую цитату. Если революціонеръ уб'єжденно обращается въ монархиста, то ничего этически дурного я въ такомъ обращеніи не вижу, и въ этомъ не сталь бы упрекать Б'єлинскаго. Мн'є нужно было, повторяю, иллюстрировать только его характерную шаткость. И воть она опровергается ли соображеніями г. В—скаго?

Я понимаю, отчего послѣдній зальцбруннское письмо къ Гоголю называетъ «революціоннымъ, если угодно». Оно, дѣйствительно, не совсѣмъ революціонно. На ряду съ такими тирадами, которыя этого опредѣленія вполнѣ заслуживаютъ, тамъ, согласно обычной невыдержанности и черезполосности Бѣлинскаго, есть мѣста, удивляющія своей непріятной умѣренностью. Такъ, ріа desiderіа нашего критика-публициста, это, между прочимъ,—дважды высказанное пожеланіе, чтобы законы строго исполнялись «по возможности». Такъ, перечисляя «самые живые, современные вопросы въ Россіи», Бѣлинскій называетъ среди нихъ «ослабленіе тѣлеснаго наказанія». Согласитесь, что это далеко отъ максимализма... \*)

<sup>\*)</sup> Правда, у Венгерова и Ляцкаго читается «отминение твлеснаго наказанія». Г. Ляцкій въ примъчаніи къ ІІІ-му тому «Писемъ» Бълинскаго (стр. 377) говорить, что здѣсь существують разночтенія: ослабленіе, уничтоженіе и отминеніе и что «установить подлинный тексть пока не представляется еще возможнымъ». Г. же Венгеровъ въ книгъ о Гоголъ разрубаеть Гордіевъ узелъ риторическимъ вопросомъ: «въроятно ли, чтобы Бълинскій требоваль только «ослабленія», а не «отмъненія твлеснаго наказанія?» На этомъ прочномъ основаніи С. А. Венгеровъ ставить «отмъненіе», хотя въ копіи Краевскаго, особенную достовърность которой признаеть самъ С. А., мы читаемъ: «ослабленіе». Я же считаю вполнъ убъдительными тъ соображенія, которыя по этому поводу высказываеть г. П. И. Вишневскій въ своей упомянутой выше

Въ общемъ, тъмъ не менъе, письмо къ Гоголю революціонно, — пользуюсь разр'вшеніемъ г. Ч. В — скаго: мн' это угодно признать. Но именно потому свидътельствомъ неустойчивости Бѣлинскаго я и считаю отзывъ о «Сельскомъ Чтении». Слухи объ освобожденіи крестьянь, учрежденіе министерства государственныхъ имуществъ, вниманіе, оказанное Государемъ Киселеву (объ этомъ такъ пишетъ Бълинскій въ томъ письмъ къ Анненкову, на которое ссылается г. В-скій: «Недавно Государь Императоръ былъ въ Александринскомъ театръ съ Киселевымъ и оттуда взялъ его съ собою къ себѣ пить чай: фактъ, прямо относящійся къ освобожденію крестьянъ»):--все это, я согласенъ, могло повліять на Бълинскаго, но это не могло бы поколебать его, если бы онъ дъйствительно былъ убъжденнымъ революціонеромъ или радикаломъ. Находить въ 1848 г. Николая I однимъ изъ «достойныхъ потомковъ великаго предка», «Моисея», т. е. Петра Великаго; утверждать, что «съ тъхъ поръ до сей минуты» Россія шла по мирному пути цивилизаціи: говорить вообще такимъ тономъ, — неужели все это (даже принимая во вниманіе, съ одной стороны, цензуру, а съ другой — слухи объ эмансипаціи) является вну-

Не совершена ли здѣсь въ самомъ дѣлѣ нѣкая ріа fraus?

книжкѣ «Н. В. Гоголь и В. Г. Бѣлинскій». Тамъ, на стр. I14, онъ отмѣчаетъ, что не только въ копіи Краевскаго, хранящейся въ Императорской Публичной Библіотекѣ, но и въ самой ранней редакцій письма, какъ оно напечатано въ «Полярной Звѣздѣ» Герцена, который непосредственно отъ Бѣлинскаго выслушалъ черновикъ зальцбруннскаго посланія,—значится «ослабленіе» «Уничтоженіемъ» или «отмѣненіемъ» впервые замѣнилъ это непріятное слово Пыпинъ (въ 1876 г.), и получилось, какъ справедливо указываетъ г. Вишневскій, «нѣчто не совсѣмъ складное»: если бы Бѣлинскій имѣлъ въ виду «уничтоженіе» тѣлеснаго наказанія, то вмѣсто повторенія одного и того же слова онъ просто между словами «уничтоженіе крѣпостного права» и словами «тѣлеснаго наказанія» поставилъ бы и; или онъ употребилъ бы «болѣе выразительное» и болѣе употребительное, чѣмъ «отмѣненіе», слово «отмѣна». «Употребивъ выраженіе «ослабленіе», Бѣлинскій сказалъ то, что сказалъ».

треннимъ и органическимъ продолженіемъ письма къ Гоголю? Не исчезло ли куда-то революціонное отношеніе къ русскому самодержавію, и не осталась ли зато неизмѣнной поражающая измѣнчивость Бѣлинскаго?..

Для меня въ этомъ смыслъ очень показателенъ и тотъ факть, что тоже послю письма къ Гоголю, уже нъсколько мъсяцевъ спустя, Бълинскій въ названномъ выше письмѣ къ Анненкову выражается такъ: «Вѣра дѣлаетъ чудеса-творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она можетъ и изъ Шевченки сдълать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смыслъ въ Шевченкъ долженъ видъть осла, дурака и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горълки по патріотизму хохлацкому. Этотъ хохлацкій радикалъ написаль два пасквиля, одинъ на Государя Императора, другой на Государыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохоталь, и, вероятно, дело темь и кончилось бы, и дуракь не пострадаль бы за то только, что онъ глупъ. Но когда Государь прочелъ пасквиль на Императрицу, то пришелъ въ великій гніввь. И это понятно, когда сообразите, въ чемъ состоить славянское остроуміе, когда оно устремляется на женщину... Шевченку послали на Кавказъ солдатомъ. Мнъ не жаль его: будь я его судьею, я сдълаль бы не меньше. Я питаю личную вражду къ такого рода либераламъ. Это-враги всякаго успъха. Своими дерзкими глупостями они раздражають правительство, дълають его подозрительнымь, готовымь видъть бунть тамъ, гдъ ровно ничего нътъ, и вызываютъ мъры крутыя и гибельныя для литературы и просвъщенія... Вотъ что дълаютъ эти скоты, безмозглые либералишки. Охъ, эти мнъ хохлы! Въдь бараны-а либеральничають во имя галушекъ и варениковъ съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать ничего нельзя-все марають. А съ другой стороны, какъ и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволить печатно проповъдовать отторжение отъ него области?» (Письма, III, 318-320).

Я лично вполнъ соглашаюсь со взглядомъ Бълинскаго на

пасквили и съ тъмъ, что иные либералы мъщаютъ либерализму \*); но дъло не въ этомъ, а въ томъ, что между письмомъ къ Гоголю и письмомъ къ Анненкову—очень большая разница, и она тоже позволяетъ мнъ «страстную лирику трибуна», которую я услышалъ въ первомъ письмъ, не считать со стороны Бълинскаго окончательной и надежной.

По върному слову П. Н. Сакулина, я признаю Бълинскаго «либераломъ весьма сомнительнаго свойства». Но это мое мнъніе всъ критики отвергають. Особенно-Н. Л. Бродскій. Қазалось бы, ни въ чемъ тақъ не постояненъ знаменитый критикъ, ни въ чемъ онъ такъ не въренъ самому себъ (насколько вообще можно говорить о постоянств Бълинскаго), какъ въ своихъ политическихъ воззрѣніяхъ: единая яркая нить консерватизма проходить и черезъ то, что онъ писалъ въ 1831 г., и черезъ то, что онъ писалъ въ 1834 г., и черезъ то, что онъ писалъ въ1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годахъ. Но все это не убъждаеть Н. Л. Бродскаго, и онъ не считаетъ Бълинскаго въ общественномъ смыслъ консервативнымъ. Въ частности, по поводу «Литературных» мечтаній» г. Бродскій замѣчаетъ, что я «напрасно киваю» на ихъ послъднюю страницу (ту, которая звучить сплошнымь панегирикомьи «царю-отцу», и «чадолюбивымъ монархамъ», и «мудрому правительству», и «благородному дворянству», и «знаменитымъ сановникамъ», «являющимся посреди любознательнаго юношества въ центральномъ храмъ русскаго просвъщенія возвѣщать священную волю монарха, указывать путь къ просвъщенію, въ духъ «православія, самодержавія и народности»): «еще С. А. Венгеровъ высказалъ догадку, что къ ней приложилъ руку редакторъ Надеждинъ».

Во-первыхъ, я на эту страницу, которую оба комментатора хотъли бы вырвать изъ собственной книги Бълинскаго, не «киваю», а безъ лукавства, прямо и опредъленно ее назы-

<sup>\*)</sup> Еще и такую характеристику либераламъ даетъ Бълинскій: "всъ наши либералы—ужасные подлецы: они не умъютъ быть подданными, они холопы: за угломъ любятъ побранитъ правительство, а вълицо подличаютъ не по нуждъ, а по собственной охотъ" (Письма, II, 44).

ваю и цитирую; во-вторыхъ, догадка г. Венгерова, къ которой присоединяется и г. Бродскій, столько же произвольна, сколько и праздна. Задаваться вопросомь о томъ, какъ подобная страница попала къ Бълинскому, было бы умъстно лишь въ томъ случать, если бы въ текстъ его сочиненій и писемъ она была инороднымъ тъломъ, если бы она противоръчила другимъ его изъявленіямъ. Но въдь мы знаемъ, что и послъ, и раньше (въ «Дмитріи Калининъ») Бълинскій писаль то же самое, высказывался въ томъ же духъ. Напримъръ, въ письмъ 1837 г. изъ Пятигорска къ Д. П. Иванову (письмъ, которое я отчасти цитировалъ и въ своемъ силуэтъ) совершенно же опредъленно славить Бълинскій русское правительство и поучаеть своего адресата, что «политика у насъ въ Россіи не им'теть смысла и ею могуть заниматься только пустыя головы»; что «Россія—еще дитя, для котораго нужна нянька, въ груди которой билось бы сердце, полное любви къ своему питомцу, а въ рукъ которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; что «дать Россіи въ теперешнемъ ея состояніи конституцію—значить погубить Россію»: что «не въ парламентъ пошелъ бы освобожденный русскій народъ. а въ кабакъ побъжалъ бы онъ, пить вино, бить стекла и въшать дворянъ, которые бреють бороду и ходять въ сюртукахъ, а не въ зипунахъ»; что у насъ «все идетъ къ лучшему» и причиною этому «установленіе общественнаго мнънія.. и, можеть быть, еще бол'ве того самодержавная власть». которая «даеть намъ полную свободу думать и мыслить, но ограничиваеть свободу громко говорить и вмъшиваться въ ея дъла»; что блюсти цензуру и не допускать перевода нъкоторыхъ иностранныхъ книгъ, -- «это хорошо и законно съ ея стороны, потому что то, что можешь знать ты, не долженъ знать мужикъ»; что если «правительство позволяеть намъ выписывать изъ-за границы все, что производить германская мыслительность, самая свободная, и не позволяеть выписывать политическихъ книгъ», то «эта мъра превосходна и похвальна» (Письма, I, 91—94).

Что же, или и это письмо Бълинскаго писалъ не Бълинскій, а кто-нибудь другой? Не построять ли наши ученые какой-либо «догадки» въ этомъ направленіи? Хорошо бы только обосновать ее во всякомъ случаъ не такъ, какъ это дълаеть г. Бродскій: предположеніе о принадлежности конца «Литературныхъ мечтаній» не Бълинскому, а Надеждину, онъ находить «вполнѣ возможнымъ» потому, что въ это время кружокъ Станкевича, гдв вращался авторъ «Литературныхъ мечтаній» «отрицательно относился къ квасному патріотизму» и, значить, если Бълинскій, быль «рупоромъ кружка», онъ не могь быть «рапсодомъ формулы: «православіе, самодержавіе, народность» ...Эта аргументація была бы неотразимо-блестящей, но горе въ томъ, что въдь это я, только я, считаю Бълинскаго «рупоромъ кружка», а не г. Бродскій! В'єдь посл'єдній, наобороть, пламенно выступаль противь этихъ словъ моихъ и всъми силами защищалъ самостоятельность нашего критика. А теперь, забывъ про это, онъ утверждаетъ, что извъстныхъ мыслей у Бълинскаго не могло быть, такъ какъ-де ихъ не мыслилъ кружокъ Бълинскаго! Изъ кружка въ порочный кругь безвыходно попаль здёсь Н. Л. Бродскій. И къ этому его привело желаніе во что бы то ни стало признать Бълинскаго либераломъ, т. е. прочесть то, чего послъдній не писалъ, и не читать того, что онъ написалъ всѣми буквами, явственно и несомнительно.

По своему обыкновенію, г. Бродскій для большей в'врности опирается и на авторитеты, подтверждающіе либеральность Б'влинскаго: онъ называеть Герцена, Некрасова, Салтыкова—и, въ другой плоскости, даже коменданта Петропавловской кр'впости и Дубельта, которые недаромъ же поджидали Б'влинскаго въ «тепленькій каземать» и жал'вли, что смерть освободила его отъ тюрьмы.

Мое упорное нежеланіе считаться съ авторитетами остается въ силѣ. Къ тому же, коменданта Скобелева и Дубельта я даже не признаю въ данномъ вопросѣ компетентными: я думаю, что ІІІ Отдѣленіе не всегда было право, что Дубельтъ

иногда ошибался, что у русскаго правительства, какъ у страха, были глаза велики. И неужто въ самомъ дѣлѣ статьи Бѣлинскаго, даже если стоять на офиціальной точкѣ зрѣнія, справедливо «считались опасными, вредными»? Развѣ это не было однимъ изъ обычныхъ недоразумѣній нашего строя? О письмѣ къ Гоголю я не говорю,—но вѣдъ и въ своемъ силуэтѣ я призналъ его, на ряду съ нѣкоторыми другими письмами, исключеніемъ изъ общаго политическаго правила у Бѣлинскаго.

Одинь изъ наиболъе частыхъ укоровъ, предъявляемыхъ ко мнъ обычно, а за силуэтъ Бълинскаго въ особенности. это-то, что я лишенъ чувства исторической перспективы; какъ мило шутитъ П. Н. Сакулинъ, на моемъ рабочемъ столъ въ граненомъ хрустальномъ флаконъ стоитъ какой-то «реактивъ на въчность». Вообще, о моемъ эстетизмъ много говорять мои оппоненты, попрекають меня имъ и о методъ имманентной критики, который я защищаю и который береть у писателя то, что писатель даеть, они отзываются сь убійственной насмъщкой. Я не буду здъсь касаться этихь обвиненій въ ихъ общей формъ (тымь болье что конкретно ни одинъ изъ моихъ рецензентовъ ни въ одной ошибкъ противъисторичности меня не уличиль), а разсмотрю этоть пункть только въ примънении къ моей характеристикъ Бълинскаго. И такъ какъ упрекъ въ анти-историзмъ преимущественно выдвигаеть противъ меня критикъ Русскаго Богатства г. А. Дерманъ, то я по данному вопросу остановлюсь главнымъ образомъ на его статъъ. Но чтобы уже не возвращаться къ г. Дерману, я по дорогъ сдълаю попытку опрокинуть и другія его сооруженія, воздвигнутыя противь меня.

Первое впечатльніе, какое онъ вынесь отъ моего очерка, это — «отсутствіе скромности». Моя фраза: «то представленіе, какое получаешь о Бълинскомь изъ чужихъ прославляющихъ устъ, въ значительной степени рушится, когда под-

ходишь къ его кингамъ непосредственно», та фраза истолковывается моимъ рецензентомъ такъ, что, по моему-де, либо никто до меня не подходилъ къ книгамъ Бълинскаго, либо, «подойдя къ нимъ и разрушивъ легенду въ сердцъ своемъ, не нашелъ въ себъ мужества открыто объ этомъ заявить».

Упрекомъ въ нескромности жестокій г. Дерманъ ставить меня въ очень щекотливое положение: въдь если я, въ отвътъ ему, стану доказывать свою скромность, я тъмъ самымъ ее потеряю, не правда ли?.. Но д'влать нечего. Я долженъ напомнить г. Дерману, что есть pluralis majestatis и есть pluralis modestiae. То множественное число, которое заключается въ моихъ обобщающихъ безличныхъ выраженіяхъ «получаешь» и «подходишь», это, конечно, — pluralis второй категоріи. По существу я говорю о себъ, только о себъ, о своемъ субъективномъ впечатлъніи; но чтобы свою личность не выдвигать, я и употребиль форму безличную. Мнъ именно казалось, что такъ будеть скромнее, -а воть подите жь!. Своей шапкой-невидимкой я не боялся ввести кого-либо изъ свъдущихъ людей въ заблужденіе, потому что однажды навсегда заявиль о субъективности своихъ силуэтовъ и въ предисловіи къ нимъ постарался даже ее принципіально обосновать. Этотъ мой субъективизмъ, этотъ мой импрессіонизмъ какъ разъ и служитъ основной мишенью для нападокъ на меня со стороны моихъ критиковъ; какъ разъ потому они и находять мои взгляды необязательными (съ чемъ согласенъ и я). А вообще имъть свои взгляды, въ частности-на Бълинскаго, этого, я понимаю, не признаеть нескромностью и г. Дерманъ. Иначе идеаломъ скромности надо было бы считать Молчалина, который думаль, что ему не должно смъть свое сужденіе имѣть.

Въ скобкажъ замъчу, что не только г. Дерманъ, но и г. Ивановъ-Разумникъ забылъ о субъективномъ характеръ монжъ характеристикъ. Въ самомъ дълъ: отбрасывая не только мою оцънку Бълинскаго, но и въ связи съ нею мой методъ вообще, г. Ивановъ-Разумникъ именуетъ послъдній «историко-

литературнымъ», утверждаетъ, что самъ я «въ особой статъъ познакомилъ читателей съ этимъ своимъ «методомъ», и выясняетъ, «въ чемъ слабость «историко-литературнаго метода» г. Ю. Айхенвальда».

Для меня—загадка, почему слова «историко-литературный» г. Ивановъ, будто цитируя, упорно замыкаетъ въ кавычки и почему онъ ссылается на мою «особую статью», гдъ я знакомлю якобы съ «этимъ своимъ «методомъ». Развъ я въ этой статьъ, которую читалъ же, конечно, г. Ивановъ-Разумникъ, коль скоро онъ на нее опирается, развъ я тамъ или гдъ-нибудь въ другомъ мъстъ называю и признаю свой методъ «историко-литературнымъ»? Развъ въ этой статьъ, наоборотъ, я своего метода не отмежевываю отъ историко-литературнаго? Развъ суть и ересь ея не заключается именно въ томъ, что я историко-литературный методъ отвергаю? Какое же право имъетъ г. Ивановъ на кавычки? Или это-иронія? Тогда надъ къмъ, надъ Иронизировать надъ «историко-литературностью» моего метода, очевидно, можно было бы лишь въ томъ случаъ, если бы я или кто-нибудь другой считаль и называль его историко-литературнымъ. И когда г. Ивановъ-Разумникъ провозглашаетъ, что «критическая манера не есть историко-литературный методъ», то вѣдь этимъ онъ меня не уничтожаеть, а меня, мою же главную мысль, альтруистически поддерживаеть. Зачъмъ же онъ съ такими усиліями ломится въ ту дверь, которую я самъ широко раскрылъ? Это съ его стороны неэкономно и знаменуетъ полную побъду не надо мною, а надъ здравымъ смысломъ.

Итакъ, г. А. Дерманъ осуждаетъ меня за несоблюденіе исторической перспективы. Мои указанія на то, что Бълинскій не понялъ Баратынскаго, не дооцѣнилъ Пушкина, не принялъ Татьяны, г. Дерманъ признаетъ «чудовищнымъ непониманіемъ сущности критики»; онъ видитъ въ нихъ требованіе съ моей стороны, чтобы «Бълинскій зналъ не меньше того, что теперь извѣстно» мнѣ. И эти «упреки» мои «рав-

носильны тому, какъ если бы нынче гимназисть VI класса принялся укорять Аристотеля:—какъ же это вы, милостивый государь, позволили себъ утверждать, что природа боится пустоты? Стыдно-съ! Давленіе воздуха, а «не боится пустоты»!

Простимъ тонъ этой пошлой буфонады, развязность этого «милостиваго государя», и вникнемъ въ дъло по существу. Если бы мои ожиданія отъ Бълинскаго взаправду былн «равносильны» требованію, чтобы Аристотель обладаль научными знаніями ХХ стольтія, то это свидьтельствовало бы о такой моей непроходимой глупости, что непроходимой глупостью было бы спорить со мною. Въдь только глупецъ оспариваетъ глупца. Къ счастью для насъ съ г. Дерманомъ, положение вещей не таково. Я, прежде всего, спрашиваю съ Бълинскаго не фактическихъ знаній, а вкуса и оцънки. И, затъмъ, я ихъ спрашиваю именно въ предълахъ его эпохи, по мѣрѣ исторической возможности. Развѣ, дѣйствительно, въ то время, когда жили Пушкинъ и Баратынскій, исторически невозможно было ихъ понять и оцфнить? Развф не было тогда людей, которые принимали и Татьяну, и мудрость Баратынскаго, и многое другое, чего не принялъ Бълинскій? даже не думаю, что для этого надо было быть великимъ человѣкомъ; но ужъ во всякомъ случаѣ тѣ, которые считаютъ Бълинскаго великимъ критикомъ, геніальнымъ критикомъ, которые безвкусно называють его «великій критикъ земли русской», — ужъ они-то навърное не имъютъ права его ошибки оправдывать ссылкой на его время: въдь тъмъ-то великій и великъ, что онъ больше своихъ современниковъ. Если Бълинскій — только сынь своей эпохи, рядовой представитель ея, страдающій ея естественной близорукостью, то за что же его такъ увънчивать? Недаромъ его панегиристы, противоръча строгости своего же историзма, часто указывають, что Бълинскій стояль именно впереди своего времени. Такь, самь г. Дерманъ, защищающій Бълинскаго и Аристотеля отъ антиисторичныхъ нападокъ моихъ и родственнаго мнъ по уму гимназиста VI класса, восторженно отмъчаетъ «по истинъ

пророческую геніальность въ такомъ чудѣ критическаго прозрѣнія Бѣлинскаго, какъ предсказаніе славы Достоевскому по его первой повѣсти», чуждой въ своемъ стилѣ господствовавшимъ формамъ. Что же, можно, значитъ, пророчески упреждать исторію, геніальной мыслью преодолѣвать ея рамки, совершать «чудеса критическаго прозрѣнія»?

Правда, выбранная г. Дерманомъ иллюстрація къ этому тезису крайне неудачна и говорить не за Бълинскаго, а противъ него. Во-первыхъ, г. Дерманъ, разъ ужъ онъ приняль любезное участіе въ спеціальномъ споръ, должень бы знать (или помнить), что Достоевскаго открыли Григоровичь и Некрасовъ, а не Бълинскій: это они, очарованные повъстью юнаго автора, въ памятную русской литературъ бълую майскую ночь, прибъжали къ Достоевскому со словами восторга; это Некрасовъ принесъ Бълинскому рукопись «Бъдныхъ людей» и «закричалъ»: «Новый Гоголь родился!», на что знаменитый критикъ «строго» отвѣтилъ: «у васъ Гоголи-то какъ грибы растутъ», и лишь послъ этого, прочитавъ рукопись, онъ и самъ пришелъ въ волненіе и восхищеніе. Во-вторыхъ, г. Дерманъ долженъ бы знать (или помнить), печати Бълинскій даль о «Бъдныхъ людяхъ» довольно умъренный отзывь, совствит не такой, какт въ устной бесталь съ Достоевскимъ. Въ-третьихъ, г. Дерманъ долженъ бы знать (или помнить), что Бълинскій со свойственной ему шаткостью оть своей высокой оценки Достоевскаго скоро отказался, въ ней раскаялся и за нее назвалъ себя «осломъ»; вотъ что писалъ онъ Анненкову: «Онъ (Достоевскій) и еще кое-что написалъ послъ того, каждое его произведение-новое паденіе. Въ провинціи его терп'єть не могуть, въ столиць отзываются враждебно даже о «Бфдныхъ людяхъ». Я трепещу при мысли перечитать ихъ, такъ легко читаются они! Надулись же вы, другь мой, съ Достоевскимъ-геніемъ! О Тургеневъ не говорю-онъ тутъ былъ самимъ собою, а ужъ обо мнь, старомь чорть, безь палки нечего и толковать. Я, первый критикъ, разыгралъ тутъ осла въ квадратъ» (Письма, III, 338). Это — его послъднее слово о Достоевскомъ (какъ и все это письмо, къ несчастью, — одно изъ послъднихъ предсмертныхъ словъ Бълинскаго). Гдъ же здъсь геніальность, гдъ же пророчество, гдъ критическое чудо?

Въ своей работъ я, по г. Дерману, «натворилъ нъчто невообразимое»; гръхъ противъ элементарнаго историзма, даже «комическую наивность» онь усматриваеть, напримъръ, въ такихъ строкахъ моей статьи: «если Бѣлинскій—энтузіасть, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него такъ много риторики и гуслярнаго звона, и раскрашеннаго стиля?.. почему свою увлеченность онъ выражаеть не въ задушевной и дорогой простоть, почему о любимомь онь говорить не естественно?» На всв эти вопросы мои г. Дерману просто «совъстно отвъчать», такъ какъ, если бы свою совъстливость онъ преодолълъ, то отвъты заключались бы въ «азбучно-элементарныхъ указаніяхъ на то, что риторическое для нашихъ дней было абсолютно адэкватно энтузіазму Бѣлинскаго 75 лѣть назадь», что «тогда не было и быть не могло «дорогой простоты» стиля Чехова», что Бізлинскій не могь же писать «языкомъ Бориса Зайцева».

Вы видите, историзмъ отплатилъ своему безкорыстному ревнителю черной неблагодарностью: г. Дерманъ не долго думая (именно потому, что не долго думая) впадаетъ въ такую историческую ошибку, которая была бы чудовищна, если бы она не была смѣшна. Справедливо полагая, что Бѣлинскій не могъ дожидаться Чехова и Зайцева, мой рецензентъ забываетъ только... о Пушкинѣ. Я, обвиняемый въ анти-историзмѣ, знаю однако исторію, помню хронологію и отдаю себѣ ясный отчетъ въ томъ, что во времена Бѣлинскаго и до него былъ уже Пушкинъ, который свою прозрачную прозу, свои разсказы и критическія статьи запечатлѣлъ хрустальной простотой, выражалъ свой энтузіазмъ, африканскую огненность своей натуры, безъ риторики и надъ всякой риторикой отъ души смѣялся; я, осуждаемый за пренебреженіе къ исторической перспективѣ, не упускаю изъ виду, что естественно-

му стилю Бълинскій могь учиться не только у Пушкина, но даже у нъкоторыхъ своихъ предшественниковъ,—напримъръ, у Киръевскаго, очень далекаго отъ напыщенности «Литературныхъ мечтаній»,—я, словомъ, все это и многое другое учитываю, а защитникъ перспективы, другъ исторіи, этимъ пренебрегаетъ и, какъ цитированный имъ гимназистъ VI класса, въ своемъ упрощенномъ пониманіи историзма констатируетъ лишь то несомнънное, что современниками Бълинскаго не были Чеховъ и Зайцевъ.

Не было бы грѣха и въ томъ, если бы г. Дерманъ зналъ (или помнилъ), что въ риторизмъ обвинялъ Бѣлинскаго самъ Бѣлинскій, что, по его собственному признанію, риторикой возмѣщалъ онъ недостававшій ему павосъ; вотъ что пишетъ онъ Боткину: «Мнѣ нужно то, въ чемъ видно состояніе духа человѣка, когда онъ захлебывается волнами трепетнаго восторга и заливаетъ ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь? А этого-то и нѣтъ,—и вотъ почему у меня много риторики (что ты весьма справедливо замѣтилъ и что я давно уже и самъ созналъ). Когда ты наткнешься въ моей статъѣ на риторическія мѣста, то возьми карандашъ и подпиши: здѣсь бы долженъ быть павосъ, но, по бѣдности въ ономъ автора, о, читатель! будь доволенъ и риторической водою» (Письма, II, 215).

Приведя мои слова: «понятіе о въчности литературы было Бълинскому вообще чуждо, и онъ думалъ, что на всъ книги, направленія, стили есть только временный спросъ и временный къ нимъ интересъ»,—г. Дерманъ замъчаеть, что если изъ этой тирады устранить «вульгаризмъ («временный спросъ»), принадлежащій не Бълинскому», то въ такомъ исповъданіи послъдняго окажется «величайшая правда и заслуга», а неправда и вина будеть какъ разъ на моей сторонъ, такъ какъ-де для Бълинскаго «именно изъ понятія въчности литературы вытекало понятіе о временности и смертности стиля», я же (а не Бълинскій) этому понятію совершенно чуждъ, коль скоро я полагаю, будто «существуетъ какой-то въчный

стиль». «А онь (т. е. я, Ю. А.), къ сожальнію это полагаеть».

Я радъ, что могу освободить г. Дермана отъ его сожалънія, этого тягостнаго чувства. Хотя разбираемую статью свою онъ озаглавилъ «Айхенвальдъ о Бълинскомъ», но въ началъ ея посвящаеть нъсколько строкъ всей моей книгъ вообще и высказываеть мнъніе, что изъ входящихъ въ нее новыхъ характеристикъ «наиболъе удачной» является посвященная Бальмонту. Значитъ, мои новые очерки г. Дерманъ сравнивалъ другъ съ другомъ; а если онъ ихъ сравнивалъ, значитъ, онъ ихъ читалъ всъ; а если онъ ихъ читалъ, то, значитъ, въ моемъ очеркъ о Карамзинъ онъ прочелъ слъдующія строки: «исчезаютъ литературные стили, но если была въ нихъ душа, то она остается, и сквозь старое, старомодное можно видъть ея живой и безсмертный обликъ».

Ясно, кажется, что г. Дерманъ исцъленъ отъ своего сожалѣнія. Ясно, что не только я не полагаю, будто существуетъ какой-то въчный стиль, но и, наоборотъ, въчность литературы (души) противопоставляю временности отдельныхъ стилей, т. е. дълаю то, что г. Дерманъ признаеть «величайшей правдой и заслугой». Бълинскій же въчнаго сквозь временное, литературы сквозь стиль, души сквозь моду не чуяль, — и въ этомъ я его упрекаю. Онъ, повторяю, думалъ, что на всѣ направленія, книги, стили есть только временный спрось и только временный къ нимъ интересъ. А что «вульгаризмъ» временнаго спроса принадлежить не мнъ и что г. Дерманъ не имъетъ права отнимать его у Бълинскаго, это можно видъть даже изъ всей его оцънки Пушкина и изъ многихъ рецензій; въ качествъ примъра укажу хотя бы на слъдующее: въ 1835 г. Бълинскій объ« Аббадонъ» Полевого даеть положительный отзывъ, а въ 1841 г. о немъ же-отзывъ отрицательный, и мотивируетъ это темъ, что данное произведение не можетъ интересовать публику такъ, какъ прежде: «пять лътъ въ русской литературѣ, -- да это все равно, что пятьдесять въ жизни иного человъка!... И потому должно ли удивляться, что та же самая

публика, которая очень радушно приняла «Аббадону» въ 1835 году, теперь велитъ ей говорить «дома нътъ»? (Сочиненія Бълинскаго, редакція Венгерова, т. II, 74; т. VI, 153).

Пять льть—это ли не «временный спросъ»?

Въ связи съ этимъ находится тяжкое обвиненіе г. Дермана, что я, «съ какой-то этической безпечностью, не гнушаюсь чтеніемъ въ сердцахъ» и оттого «происхожденіе теоретическаго сужденія» Бълинскаго приписываю его боязни «оказаться не передовымъ, не просвъщеннымъ».

Всъ читавшіе Бълинскаго знають, какъ часто онъ ссылается на «наше время», какое огромное значение приписываеть эпохъ, «духу времени», какъ важно въ его глазахъ, чтобы каждый писатель отвъчаль требованіямь современности, быль передовымъ и просвъщеннымъ. Это и дало мнъ право утверждать, что и самъ Бълинскій боялся оказаться не въ числъ передовыхъ и просвъщенныхъ, вслъдствіе чего и отъ искусства требоваль онъ служенія вопросамь эпохи. Это я прочель не въ сердув Бълинскаго, а въ его книгахъ; это мнъ раскрыла не «этическая безпечность», а критическая внимательность. Наконецъ, чтеніе въ сердцахъ предосудительно тогда, когда оно уличаетъ человъка въ чемъ-нибудь дурномъ; а въ томъ, что Бълинскій боялся не оказаться просвъщеннымъ, нъть ничего морально-дурного, - развъ лишь умственная робость. И я продолжаю утверждать, что Бълинскій слишкомъ прислушивался къ времени, и это только-иллюзія, будто онъ шелъ впереди его.

Легкомысленио забывъ Пушкина тамъ, гдѣ необходимо было его помнить, г. Дерманъ вспоминаетъ о немъ тамъ, гдѣ его можно было бы и забыть. Именно: я указываю, что изъ отношеній Николая І къ Пушкину Бѣлинскій умиленно отмѣчаетъ лишь вниманіе царя къ умиравшему поэту; далѣе, я говорю, что нашъ критикъ сочувственно поддерживалъ русскій шовинизмъ и офиціальные каноны,—г. Дерманъ на все это возражаетъ, что и самъ Пушкинъ то же самое запомнилъ изъ отошеній къ нему государя (слова на смертномъ одрѣ: «весь

быль бы его») и что Пушкина съ его «Клеветниками Россіи» я, будучи посл'єдовательнымь, тоже должень быль бы обвинить въ шовинизм'ь.

Какъ-то скучно отвъчать рецензенту, что мой силуэть посвящень не Пушкину, а Бълинскому, что о Пушкинъ—разговоръ особый. Но если ужъ этоть посторонній разговоръ г. Дерманъ поднимаеть, то въ видъ единственной реплики я мелькомъ скажу, что къ поэту и къ публицисту предъявляются требованія разныя; что, въ противоположность Бълинскому, Пушкина политическимъ либераломъ вовсе и не считають; что Пушкинъ, умирая, не могъ не испытать горячей благодарности къ государю за его объщаніе позаботиться о женъ и дътяхъ (слишкомъ скоро—вдовъ и сиротахъ), а Бълинскій, живя, могъ бы помнить и о другомъ вниманіи царя къ поэту, долженъ бы знать, какія препятствія на литературной и жизненной дорогъ замученнаго Пушкина ставили монархъ и его правительство.

Для того чтобы исчерпать фактическое содержаніе рецензіи г. Дермана, я остановлюсь еще на вопросъ о Гончаровъ; кстати отвъчу и г. Бродскому, который тоже касается этого пункта.

Какъ одну изъ ошибокъ Вълинскаго, я называю то, что онъ пустилъ въ нашъ литературный сборотъ противоположное истинъ утвержденіе, будто Гончаровъ — писатель объективный. На это г. Дерманъ возражаетъ, что о томъ, субъективенъ или объективенъ Гончаровъ, спорятъ еще и до сихъ поръ; что самыя понятія субъективности или объективности претерпъли за это время большія измѣненія; что, наконецъ, «объективность Гончарова сдѣлалась вопросомъ въ тѣсной связи съ біографическими данными, совершенно неизвѣстными Бѣлинскому». Г. же Бродскій находитъ, что недавно опубликованная переписка Гончарова «даетъ возможность считать точку зрѣнія Бѣлинскаго далеко не ошибочной»; что Гончаровъ умѣлъ «сжиматься, прятать себя, свое субъективное я въ ин-

тимныхъ тайникахъ, являться передъ читателемъ преображеннымъ, дъйствительно объективнымъ художникомъ».

Отмѣчая ошибку Бѣлинскаго, я, конечно, обязанъ былъ брать понятіе объективности именно въ томъ смыслѣ, въ какомъ употреблялъ его самъ Бълинскій, — каковую обязанностя я и выполниль, такъ что указаніе на измѣнчивость этого понятія, сдѣланное г. Дерманомъ, совершенно отпадаетъ, какъ отпадаетъ и указаніе г. Бродскаго на переписку Гончарова: Н. Л. Бродскій говорить про объективность вовсе не въ томъ смыслъ, въ какомъ говорилъ про нее Бълинскій, а вслъдъ за нимъ и я, --оба мы имъли въ виду Гончароваписателя. Не то, что въ личной жизни авторъ «Обломова» порою могь быть раздражительнымь и нервнымь, «почти маніакомъ», а въ своихъ произведеніяхъ всегда является спокойнымъ, — не это важно для Бълинскаго (и для меня), а то, что, въ глазахъ знаменитаго критика, Гончаровъ былъ безтенденціозенъ и безстрастенъ; я опираюсь на воспоминанія самого романиста и на слова Бълинскаго: «у него (Гончарова) нътъ ни любви, ни вражды къ создаваемымъ имъ лицамъ, они его не веселять, не сердять, онь не даеть никакихь нравственныхъ уроковъ ни имъ, ни читателю» (Сочиненія Бълинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, III, 973). Вотъ это мнъніе Бълинскаго и представляется мнъ противоположнымъ истинъ. Не только тв произведенія Гончарова, которыхъ нашъ критикъ не могь знать, говорять именно объ отсутствіи у перваго объективности (не ясно ли, напримъръ, что Марку Волохову онъ не сочувствуеть, а сочувствуеть лъсничему Тушину: что онъ — за «бабушкину мораль», за общественный консерватизмъ: что Обломову онъ неодолимо симпатизируеть и придаеть ему очень многое отъ самого себя, какъ и всѣхъ почти героевъ надъляеть особенностями своего стиля? и развъ это писательобъективисть провожаеть Въру въ обрывъ лирической мольбою: «Боже, прости ее, что она обернулась!»?), -- не только эти произведенія, но и «Обыкновенная исторія», Бълинскому извъстная, не позволяеть утверждать, будто Гончаровъ «не

даетъ никакихъ нравственныхъ уроковъ» и одинаково безразлично относится къ Адуеву-старшему и къ Адуеву-младшему.

И, вопреки г. Дерману, очевидно, въ данномъ случат неосвъдомленному, объективность Гончарова вовсе не «сдълалась вопросомъ въ тъсной связи съ біографическими данными, совершенно неизвъстными Бълинскому». Я вынужденъ сослаться на самого себя и указать, что еще въ 1901 году, до появленія извъстной монографіи о Гончаровъ Е. А. Ляцкаго, я въ «Обломова» призналъ глубокимъ и постать в о творить разительнымъ недоразумъніемъ его репутацію объективности. По своему обыкновенію, я руководился не біографіей писателя, а его писаніями. Г. же Ляцкій, положившій въ основу своихъ разысканій именно біографическій элементъ, независимо пришель впоследствіи къ темъ самымъ выводамъ, что и я; особымъ письмомъ въ редакцію, напечатаннымъ въ журналъ Современникъ, онъ самъ призналъ мой пріоритеть въ указаніи на субъективность Гончарова. Такимъ образомъ, рушится фактически-невърное заявленіе г. Дермана о роли біографическихъ данныхъ въ трактуемомъ вопросѣ; рушится и возможность объяснять ошибку Бълинскаго незнаніемъ біографіи Гончарова (къ тому же съ Гончаровымъ Бълинскій былъ и лично знакомъ).

Наконець, остается непоколебленнымъ и то мое утвержденіе, что Бълинскій не только за себя ошибся, но и пустиль свою ошибку въ литературный обороть, чъмъ и оказаль на критиковъ отрицательное вліяніе: воть, напримъръ, г. Ивановъ-Разумникъ въ одномъ изъ своихъ предисловій къстатьямъ Бълинскаго (тамъ же, III, 908) считаеть, что авторъ «Литературныхъ мечтаній», выдвинувъ «объективизмъ художественнаго творчества» Гончарова, тъмъ самымъ подчеркнулъ «характерную сторону» этого творчества.

Я перейду теперь къ разбору тъхъ опроверженій, которыми оппоненты встрътили мои указанія на отдъльныя эстетическія ошибки Бълинскаго.

Н. Л. Бродскій и Ч. В—скій возражають на мою ссылку, что Бълинскій, по собственному признанію, «понимающій и цънящій поэтическій таланть» Лермонтова, какь разъ оттого и предлагаєть ему не вносить въ собраніе своихъ сочиненій «Ангела» и «Узника»—того, какъ выразился я, «безъ чего Лермонтовъ не Лермонтовъ». Съ моей оцънкой «Ангела» г. В—скій согласенъ; но воть и онъ, и г. Бродскій все-таки находять, что я не правъ; г. Бродскій сенсаціонно, курсивомъ, изобличаєть меня даже въ томъ, что къ своему выводу я пришель, «не дочитаєть рецензіи Біълинскаго до конца». А этотъ конецъ (мнъ, само собою разумъется, въдомый столько же, сколько и отдъленное отъ него нъсколькими строчками начало) гласить, что «эти два стихотворенія недурны, даже хороши, но только не превосходны, а безъ этого не могуть быть хороши, когда подъ ними подписано имя г. Лермонтова».

Не говоря уже о наивности такой скалы (недурное, хорошее, превосходное), -- конецъ рецензіи расшатываетъ ли скольконибудь ея начало, ея гнетущую суть — надежду, что Лермонтовъ вычеркнетъ изъ своей поэзіи «Ангела»? И пусть Бълинскій, какъ отмѣчаетъ г. Ч. В — скій, угадалъ, что названныя два стихотворенія— «очень раннія» у Лермонтова; пусть онъ всегда былъ противникомъ такихъ предназначенныхъ для широкой публики собраній, въ которыя входитъ каждая строчка писателя, -- все это не имъетъ никакого отношенія къ дѣлу и ничуть не колеблеть приведеннаго много факта, что знаменитый критикъ не считалъ для Лермонтова характернымъ и достойнымъ «Ангела» (и «Узника»). Дополненіемь къ печатному отзыву объ этихь произведеніяхъ и оправданіємъ словъ моихъ, а не гг. Бродскаго и В — скаго, является слъдующій отрывокъ изъ письма Бълинскаго — о тъхъ же «Ангелъ» и «Узникъ»: «Стихи Лермонтова недостойны его имени, они едва ли и войдуть въ изданіе его сочиненій... и я ихъ ругну» (Письма, ІІ, 70).

Кстати, онъ же и «Послъднее новоселье» Лермонтова называль «гадостью» (Письма, II, 249).

Одно изъ грубыхъ и ръзкихъ проявленій недодуманности Бълинскаго я усмотрълъ въ его отношеніи къ пушкинской Татьянъ. Ея нравственной сущности онъ совсъмъ не принимаеть; ея послъднія слова, обращенныя къ Онъгину, вызывають у критика почти глумленіе («конецъ вѣнчаетъ дѣло» и т. д.) Въ періодъ первой встръчи съ Онъгинымъ Татьяна для Бълинскаго—«нравственный эмбріонь»; а то, что «Татьяна върила преданьямъ простонародной старины и снамъ, и карточнымъ гаданьямъ, и предсказаніямъ луны», -- это онъ считаетъ «грубыми, вульгарными предразсудками». Воть здъсь и прерываеть меня г. Ч. В-скій, утверждая, что у Бълинскаго «сказано такъ, да не совсъмъ такъ»,-и онъ приводитъ извъстную цитату (выпишу необходимую часть ея): «Татьяна возбуждаеть не см'ехъ, а живое сочувствіе,... осталась естественно простой въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дъйствительность... Это дивное соединение грубыхь, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Завозможно только въ русской женщинъ». «Это не «постыдная непонятливость» (какъ я, Айхенвальдъ, назвалъ откликъ Бълинскаго на плънительные стихи Пушкина о суевъріяхъ Татьяны), «а восхищенное любованіе дъвушкой, въ которой получала неожиданную прелесть и дань предразсудкамъ»-говорить мой рецензенть. Но я совершенно не понимаю, гдъ въ словахъ Бълинскаго нашелъ г. Ч. В-скій «восхищенное любованіе». Такъ какъ надъ «уваженіемъ» Татьяны къ Мартыну Задекъ (по Пушкину – ея любимцу) знаменитый критикъ иронизируетъ, такъ какъ и французскія книжки героини тоже не пользуются его симпатіей, то вполнъ ясно, что подъ «дивнымъ соединеніемъ» надо понимать у него «диковинное, странное соединеніе», и это послъднее Бълинскій признаеть возможнымъ только въ русской женщинъ. А характерныя черты русской женщины и, въ частности, Татьяны сказались для него въ ея объяснении съ Онъгинымъ: пламен-

ная страсть, задушевность простого, искренняго чувства, чистота, святость наивныхъ движеній-и резонерство, оскорбленное самолюбіе, тщеславіе доброд'ьтелью, «подъ которой замаскирована рабская боязнь общественнаго мнѣнія», и «хитрые силлогизмы ума, свътской моралью парализировавшаго великодушныя движенія сердца». И то, что по мивнію Татьяны, она болъе способна была внушать любовь, когда моложе и «лучше, кажется, была», --это заставляеть Бълинскаго насмъшливо воскликнуть: «какъ въ этомъ взглядѣ на вещи видна русская женщина!» И непростительной глупостью, заимствованной «изъ плохихъ сантиментальныхъ романовъ», просвъщенный и передовой критикъ считаетъ то убъждение Татьяны, о которомъ онъ иронически замъчаетъ: «въдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность!» (а что же еще нужно? чего еще требовали другь оть друга Ромео и Джульетта?) И если бы г. В-скій свою цитату нізсколько продолжиль, онъ вынуждень быль бы привести слова Бълинскаго о томъ, что въ Татьянъ «умъ ея спалъ, и только развъ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, -- да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить ее разсчету благоразумной морали»; или слова о томъ, что она-«созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія»; или слова о томъ, что она была «нравственнонъмотствующая и потому ея письмо, «прекрасное и теперь», все-таки «уже отзывается немножко какой-то дътскостью», и хотя «самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли и писалъ и читалъ это письмо», «но съ тъхъ поръ много воды утекло». Впрочемъ, у Бълинскаго, всегда роскошествующаго противорѣчіями, есть и другія, болѣе достойныя рѣчи о Татьянѣ; но едва ли не самое задушевное мичніе его о ней мы встръчаемъ въ письмъ къ Боткину (II, 394), гдъ онъ говорить нъчто такое, на что издатель его переписки накидываеть цъломудренную и все-же прозрачную вуаль изъ точекъ: «О Татьянъ тоже согласенъ: съ тъхъ

поръ какъ она хочетъ въкъ быть върною своему генералу..... .....ея прекрасный образъ затемняется». Только нецензурное и только «благоразумную мораль» воспринимаеть истолкователь Пушкина въ этой возвышенной исповъди чувства и чести: «я васъ люблю... но я другому отдана,—я буду въкъ ему върна». Своей невъстъ-конечно, почитательницъ Татьяны-Бълинскій выговариваетъ, что она горячо заступается за «эту прекрасную россіянку», и всегда это заступничество его «бъсило и опечаливало» (Письма, III, 23, 41). Въ разборъ «Полтавы» онъ. рисуя обликъ Маріи, вопрошаеть: «Что передъ ней эта препрославленная и столько восхищавшая всъхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна -- это смѣшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?» Гдѣ же во всемъ этомъ «восхищенное любованіе»? Нъть, душу пушкинской поэзіи, ея нравственный идеализмъ, воплощаемый Татьяной, Бълинскій въ слъпотъ своей отвергъ.

Онъ не принялъ, къ слову сказать, и отца Татьяны; и тамъ, гдъ Пушкинъ живописуетъ милый образъ («онъ былъ простой и добрый баринъ.. смиренный гръшникъ Дмитрій Ларинъ, господній рабъ и бригадиръ»); тамъ, гдъ Владиміръ Ленскій, волнуя и трогая читателя, посвящаетъ пеплу «бъднаго Іорика» свой элегическій вздохъ, и грустно вспоминаетъ: «онъ на рукахъ меня держалъ... какъ часто въ дътствъ я игралъ его очаковской медалью», и полный искренней печалью чертитъ надгробный мадригалъ, тамъ нечуткій Бълинскій грубо нарушаетъ всю эту красоту и сердечность, отказывается видътъ какую-нибудь разницу между Ларинымъ покойнымъ и Ларинымъ живымъ и непристойно говорить о почившемъ старикъ: «не то, чтобъ человъкъ, да и не звърь, а что-то въ родъ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы—растительному и животному».

Простодушнаго, безобиднаго Костякова изъ «Обыкновенной исторіи» онъ тоже называеть «животнымъ».

Вопреки Н. Л. Бродскому, я имѣлъ право сказать, что Бѣлинскій не принялъ «Капитанской дочки», коль скоро онъ пишеть о ней, напримѣръ, такъ: «Капитанская дочка» Пушкина, по-моему, есть не больше, какъ беллетрическое произведеніе, въ которомъ много поэзіи, и только мѣстами пробивается художественный элементъ. Прочія повѣсти его—рѣшительная беллетристика» (Письма, II, 108.)

Вопреки Н. Л. Бродскому, я имълъ право сказать, что Бълинскій не приняль сказокъ Пушкина, коль скоро онъ назваль ихъ «плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности», «уродливыми искаженіями и безъ того уродливой поэзіи». А если г. Бродскій зам'вчаеть, что нашъ критикъ рекомендоваль детямь сказку «О рыбакть и рыбкть», то это върно, только почему же мой оппоненть не упомянуль кстати, что Бълинскій видъль въ ней «исключеніе» и лишь оттого находиль въ ней «положительныя достоинства»? Въ другихъ сказкахъ Пушкина, значитъ, положительныхъ достоинствъ нътъ. Отчего именно «строго относился» Бълинскій (выраженіе г. Бродскаго) къ сказкамъ Пушкина, отчего онь отвергь Ершова (оттого, объясняеть мой рецензенть, что все это казалось ему поддълкой подъ истинный народный ладъ, бывшій для него «милѣе») это-другой вопросъ, на которомъ я и не обязанъ былъ останавливаться. Понятно, что всякое явленіе имъетъ свою причину, есть причина и у эстетическихъ ошибокъ Бълинскаго; но какова бы она ни была, ошибки не перестають быть ошибками. Причина объясняеть слъдствіе, но не уничтожаеть его. И объясненіе не есть оправданіе. Къ тому же, и причина указана г. Бродскимъ далеко не точно: вотъ мы только что видъли: «уродливое искаженіе и безъ того уродливой поэзіи» (Сочиненія Бълинскаго подъред. Иванова-Разумника, III, 271). Вообще, отношеніе Бѣлинскаго къ народной русской словесности, его взглядь на «немножко дубоватые матерьялы народныхь нашихъ пъсенъ» недаромъ вызвали впослъдствіи такое огорченіе у Буслаева, который вспоминаеть о себѣ, что онъ «не

презиралъ вмъсть съ Бълинскимъ дъла давно минувшихъ дней, преданья старины глубокой... не глумился и не издъвался вмъсть съ Бълинскимъ надъ нашими богатырскими былинами и пъснями».

Въ числъ эстетическихъ ошибокъ Бълинскаго я привелъ то, что онъ Даля провозгласилъ «послъ Гоголя до сихъ поръ ръшительно первымъ талантомъ въ русской литературъ» и нъкоторые его персонажи считалъ «созданіями геніальными». Г. Бродскій отвъчаетъ мнъ на это, что Даль въ свое время дъйствительно «занималъ видное мъсто, пожалуй, едва ли не первое», что онъ давалъ широкія картины быта, что и Пушкинъ цънилъ Даля и находилъ его «полезнымъ и нужнымъ».

Ясно, однако, что все это не колеблетъ моего замъчанія: если бы и Бълинскій такъ смотръль на Даля, если бы онъ признавалъ его знатокомъ русской народности, талантливымъ авторомъ «физіологическихъ» очерковъ, писателемъ демократизма, то это встрътило бы и съ моей стороны полное сочувствіе. Я возставалъ только противъ «геніальности», противъ «перваго мъста» за Гоголемъ. Я иллюстрировалъ только на этомъ примъръ (какъ и на другихъ) поразительное отсутствіе у Б'єлинскаго эстетической перспективы, обезц'єнивающее у него даже и върныя сужденія. Когда, чуждый «па восу разстоянія», онъ ставить въ одинъ рядъ Шекспира, Гете и Купера, Шиллера и Загоскина, Гоголя и Павлова съ Вельтманомъ, Гоголя и Даля, когда находитъ, что повъсть Соллогуба «поглубже всѣхъ Бальзаковъ и Гюговъ», когда соглашается, что Гоголь не ниже Купера, то удручаеть это насильственное и невозможное сосъдство, и уже не радуешься кақъ-то за Шекспира, за Гете, за Гоголя, и уже не кажется авторитетной его высокая оцънка высокихъ: становится подозрителенъ Бълинскій даже и тамъ, гдъ онъ правъ; вообще, его неправда компрометируеть его правду.

По мнѣнію г. Бродскаго, мои упреки, что Бѣлинскій «высоко цѣнилъ» Вельтмана, «малоосновательны». Но неужто, въ самомъ дѣлѣ, «малоосновательно» упрекать нашего критика въ томъ, что, какъ я указалъ въ своей статъѣ, онъ романъ Вельтмана «Искендеръ» называлъ «однимъ изъ драгоцѣннѣйшихъ алмазовъ нашей литературы»? Впослѣдствіи «богатѣйшимъ, роскошнѣйшимъ алмазомъ» онъ считалъ пушкинскаго «Каменнаго Гостя,»—ювелиръ, не отличающій подлинныхъ алмазовъ отъ поддѣльныхъ!..

Если, какъ въ возраженіе мнѣ отмѣчаетъ Н. Л. Бродскій, этотъ отзывъ о Вельтманѣ у Бѣлинскаго—«самый ранній» (1834 г., въ знаменитыхъ «Литературныхъ мечтаніяхъ»), то отсюда не слѣдуетъ все-таки, что я въ своемъ упрекѣ неправъ; къ тому же, Бѣлинскій и въ концѣ своей дѣятельности, въ 1847 году (въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1846 г.»), даже перечисляя недостатки Вельтмана, признаетъ въ немъ «безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ талантовъ нашего времени».

Г. Бродскій думаєть, что если бы я внимательнье прочель отзывь Бълинскаго о «Сцень изъ Фауста», то эта внимательность мое «странное» мнъніе, будто критикъ не поняль, не оцьниль названной пьесы, сильно «сократила» бы (развъ мое мнъніе — длинное?) или даже «совсъмъ уничтожила».

Какъ мив доказать, что я читаль вполив внимательно? Но и Н. Л. Бродскій не докажеть, что у Бълинскаго нътъ тъхъ резюмирующихъ словъ о «Сценъ», которыя я привель въ своемъ очеркъ: «(не смотря на то, пьеса эта) написана ловко и бойко и потому читается легко и съ удовольствіемъ». «Не смотря на то», т.-е. не смотря на свои недостатки, сцена «написана ловко и бойко» и т. д.: значить, въ послъднихъ словахъ, въ заключеніи Бълинскаго, содержится самое похвальное, самое смягчающее, что онъ можетъ противопоставить изъянамъ произведенія, —то предъльно-снисходительное, что онъ

можеть сказать о твореніи, которое, на мой скромный взглядь, глубокомысленно и въще, достойно Гете и достойно Пушкина (Бълинскій же говорить еще, что хотя Сцена «написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гетевымъ «Фаустомъ» нътъ ничего общаго»). Если бы даже Бълинскій былъ правъ, свойственной CO ему излишней чуткостью къ запросамъ «нашего времени» утверждая, что это «наше время», «знакомое съ демономъ другого поэта» (Лермонтова) «съ улыбкой смотрить на Пушкинскаго чертенка» и пушкинскому Мефистофелю предпочитаеть «демона движенія, въчнаго обновленія, въчнаго возрожденія», того «въ сущности преблагонамъреннаго демона», который, если и «губить иногда людей и дълаетъ несчастными цълыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра человъчеству и всегда выручая его», -- если бы, говорю я, Бълинскій быль и правъ въ этомъ наивномъ пониманіи демонизма, какъ доброты, благонам вренности и прогресса. то и въ такомъ случать, вопреки Н. Л. Бродскому (который свое возражение мит обосновываеть ссылкою на указанную концепцію демона у Бълинскаго), это и не «сократило» бы, и не «уничтожило» бы моей мысли о томъ, что знаменитый комментаторъ Пушкина «Сценъ изъ Фауста» никакого серьезнаго значенія не придаваль.

Н. Л. Бродскій полагаеть, что если бы я «захотьль быть безпристрастнымь» и не строиль своего заключенія о взглядь Бълинскаго на Баратынскаго «по поводу отзыва Бълинскаго только объ одномъ стихотвореніи этого поэта», то я не сказаль бы, будто первый «ужасающе не поняль мудраго Баратынскаго».

Во-первыхъ, свое заключение объ отношении критика къ поэту я вывелъ не изъ одного отзыва Бълинскаго объ одномъ стихотворении Баратынскаго, а изъ всего, что первый писалъ о послъднемъ (преимущественно же — изъ статьи Бълинскаго 1842 г.: «Стихотворения Евгения Баратынскаго»). Г. Бродский

не замѣтилъ въ моей фразѣ дѣйствительно маленькаго слова--и. Фраза эта читается такъ: «Онъ ужасающе не понялъ мудраго Баратынскаго и, если въ 1838 г. называлъ его стихотвоніе Сначала мысль воплощена въ поэму сжатую поэта-истинной творческой красотою, необыкновенной художественностью», то въ 1842 г. про это же стихотворение отзывался»... (очень отрицательно). Союзъ и только исполнилъ здѣсь свою прямую обязанность — соединиль одну мысль съ другой. То, что слъдуеть у меня послъ и, говорить не о непониманіи Бълинскимъ Баратынскаго, а-правда, въ связи съ этимъ-о присущей нашему критику измѣнчивости оцѣнокъ; тѣ же шесть словъ, которыя седьмому слову и у меня предшествують («онъ ужасающе не поняль мудраго Баратынскаго»), содержать въ себѣ выводъ, повторяю, какъ изъ всъхъ рецензій Бълинскаго на Баратынскаго, такъ и изъ той полемической литературы объ этихъ рецензіяхъ, съ которой я познакомился у Андреевскаго, у Саводника, у Венгерова.

Принятая мною форма «силуэта» даетъ мнъ право на сжатость и право не показывать своей предварительной черновой работы. Но воть она же, эта моя излюбленная манера, привела меня теперь къ непроизводительной тратъ времени, такъ какъ въ предлагаемой брошюръ мнъ почти только то и приходится дълать, что развертывать сосредоточенныя предложенія своего первоначальнаго этюда. Правда, г. Бродскій именно въ сжатости мнъ вообще отказываетъ (чтобы въ ея отсутствіи у меня убъдиться, для этого, по его словамъ, надо бы переписать всъ мои Силуэты); мою рѣчь, какъ автора, онъ называетъ «многоглаголивой». Но, можеть быть, Н. Л. Бродскій не потребуеть, чтобы въ подтвержденіе его приговора былъ переписанъ какъ разъ мой силуэтъ Бълинскаго? Можетъ быть, въ видъ исключенія, онъ согласится, что по крайней мѣрѣ этотъ очеркъ скоръе страдаетъ излишней лаконичностью, чъмъ заслуживаетъ упрека въ многословности? Въдь недаромъ же другіе оппоненты корять меня моими четырнадцатью страничками.

Во-вторыхъ, если Бълинскій, какъ и я, признавалъ Бара-

тынскаго поэтомъ мысли и находилъ его языкъ сжатымъ (что, въ возражение мнъ, напоминаетъ г. Бродский), то отсюда еще далеко не слѣдуеть, что Бѣлинскій Баратынскаго поняль. Такія особенности въ авторѣ «Истины» подмѣчали многіе; и не подмътить ихъ грамотному человъку нельзя (да и самъ поэть говорить о нихъ въ своей лирикѣ). Подобныя сужденія лишь констатирують факть, но сами по себъ еще не ведуть къ его пониманію и оцінкі; и совпаденіе такихъ элементарностей у разныхъ критиковъ ничего не доказываеть и ни къ чему не обязываетъ. Самъ же г. Бродскій, усматривающій приведенную черту сходства во мнъніяхъ о Баратынскомъ у Бълинскаго и у меня, справедливо утверждаетъ однако, что въ общемъ пониманіи поэзіи Баратынскаго я съ знаменитымъ критикомъ расхожусь. На непререкаемость именно своей оцънки я, вопреки г. Бродскому, конечно, не притязаю; но интересно отмътить, что какъ разъ вопросъ объ отношении Бълинскаго къ Баратынскому теперь наименъе споренъ. Такъ, одинъ изъ глубокихъ почитателей Бълинскаго, одинъ изъ сильнъйшихъ моихъ противниковъ, г. Ивановъ-Разумникъ говоритъ, къ моему удовлетворенію, слъдующее: «Бълинскій не оцъниль Баратынскаго-странно было бы стремиться это затушевывать... Главное въ Баратынскомъ все же не было выявлено въ критикъ Бълинскаго» (Собр. сочин. В. Г. Бълинскаго, II, 538 — 539). Въ только что выпущенномъ Академіей Наукъ собраніи сочиненій Баратынскаго его біографъ, г. М. Л. Гофманъ, на стр. LXXVIII перваго тома, замъчаетъ: «Больно задъвали самолюбіе поэта неодобрительные отзывы о немъ Бълинскаго и критиковъ, вторившихъ Бълинскому».

А если, какъ цитируетъ Н. Л. Бродскій, тотъ же Бълинскій сказалъ, что «изъ всѣхъ поэтовъ, появившихся вмѣстѣ съ Пушкинымъ, первое мѣсто безспорно принадлежитъ г. Баратынскому», то это лишь подтверждаетъ тѣ совершенно исключительныя противорѣчивость, легкомысленность и праздность сужденій Бѣлинскаго, которыя, въ данномъ случаѣ, позволяли ему на ряду съ такимъ приближеніемъ Баратынскаго

къ Пушкину писать, что «теперь даже и въ шутку никто не поставить имени г. Баратынскаго подлѣ имени Пушкина»; что Баратынскій ниже Козлова и что муза Баратынскаго — «свѣтская, паркетная»; что Баратынскаго слѣдуетъ назвать въ числѣ тѣхъ писателей, относительно которыхъ нашъ непостоянный критикъ вопрошаетъ: «И гдѣ же они теперь, гдѣ ихъ слава, кто говоритъ о нихъ, кто помнитъ? Не обратились ли они въ какія-то темныя преданія?» (Письма, ІІІ, 304). Вѣдь одна изъ основныхъ идей моего оспариваемаго силуэта въ томъ и заключается, что у Бѣлинскаго есть все и что въ этомъ—его и наше несчастье.

То, что Бълинскій, какъ соглашается Н. Л. Бродскій, въ 1836 году «Скупого Рыцаря», подписаннаго буквой Р., не распозналъ («отрывокъ переведенъ хорошо, хотя, какъ отрывокъ, и ничего не представляетъ для сужденія о себъ»),—это только для г. Бродскаго, а не для меня, искупается тымь, что «уже въ 1838 году» критикъ считалъ драму Пушкина «лучшимъ созданіемъ», «сохранивъ этотъ взглядъ до конца жизни». Въ 1838 году... Тогда уже было извъстно, что «Скупой Рыцарь» принадлежить не Р., а Пушкину; тогда уже многіе восторгались этой красотою. И такъ какъ въ моихъ глазахъ Бълинскій-мыслитель, необычайно внушаемый, то я никакой заслуги съ его стороны и не вижу въ томъ, что онъ перемънилъ свое прежнее изумительное мнъніе. Воть если бы «лучшее созданіе» было отмічено, какъ такое, при жизни поэта, въ 1836 году; если бы тогда Бълинскій разслышаль Пушкина; если бы тогда донесся до его сердца этоть голось «шуму водъ подобный»!..

Н. Л. Бродскій (изъ всѣхъ моихъ оппонентовъ наиболѣе богатый фактическими указаніями,—оттого я такъ долго и бесѣдую съ нимъ), — Н. Л. Бродскій пишетъ дальше: «Ю. И. Айхенвальдъ не замѣтилъ (!), что Бълинскій — авторъ статей

о Гоголъ, Кольцовъ, Лермонтовъ, Пушкинъ, что онъ по одному стихотворенію М. предсказалъ талантъ А. Майкова, что онъ первый привътствовалъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Григоровича, Некрасова, Искандера-Герцена, объяснилъ ихъ, разсыпавъ до сихъ поръ неумершія замъчанія объ индивидуальной силъ каждаго дарованія».

Я понимаю, отчего послъ словъ «не замътилъ» мой рецензенть поставиль восклицательный знакъ: въ самомъ дълъ, было бы удивительно, если бы я не замѣтиль, авторомь какихъ статей является Бълинскій и что онъ говориль о каждомъ изъ перечисленныхъ писателей. Но для такого удивленія нѣть повода, потому что «до сихъ поръ неумершія замъчанія» Бълинскаго о разныхъ авторахъ я помнилъ; именно поэтому въ своей статъв я и сказалъ, что у него были «отдъльныя правильныя концепціи, отдъльныя върныя характеристики»; что «конечно, были у него и правильныя догадки, были върныя оцънки»; что «иногда загораются у него мысли и слова, которыя надо только привътствовать и запомнить»; что «не только отъ его дурного, но и оть его хорошаго, разсыпались мысли, разсъялись по русской землъ яркія искры»; что онъ высказывалъ «много в'єрныхъ и ц'єнныхъ идей о сущности красоты, о первенствъ формы, о творческомъ элементъ критики»... По поводу, въ частности, Гоголя я выразился, что о немъ, какъ и о Пушкинъ, какъ и о Грибоъдовъ, какъ и о Лермонтовъ, Бълинскій выказалъ уклоненія и ошибки — «на ряду съ вѣрными сужденіями» (этимъ я отвъчаю и на фактически-невърный упрекъ г. Ч. В-скаго, будто я «ни словомъ не упомянулъ о положительномъ, -- напр., роли Бълинскаго въ установлении художественной славы Гоголя и т. п.»). Воть почему нельзя возражать мнъ ссылкой на хорошее и цънное у Бълинскаго, - я самъ его не отрицалъ; спорить можно только о томъ, правильно ли я соблюлъ пропорціи, върно ли распредълилъ свъть и тъни, такъ ли намътилъ плюсы и минусы знаменитаго критика (къ этому вопросу я вернусь ниже).

Итакъ, мимо сдъланнаго г. Бродскимъ перечня я могъ бы пройти, потому что этотъ перечень—не возраженіе на мою характеристику Бълинскаго; но въ интересахъ дъла я всетаки о нъкоторыхъ названныхъ именахъ нъсколько словъ скажу.

Съ какими существенными, а иногда и роковыми, оговорками должно признать, что Бълинскій оцъниль Пушкина, Лермонтова, Достоевскаго, Гончарова,—на это я уже указываль; въ примъненіи къ Пушкину и Лермонтову я объ этомъ и еще выскажусь потомъ.

Что касается Гоголя, то въ защиту своей мысли, что относительно него, какъ и относительно Пушкина, Лермонтова, Грибовдова, върныя сужденія Бълинскій, критикъ ненадежный, человъкъ шаткаго ума и колеблющагося вкуса, выражалъ въ перемежку съ уклоненіями, ошибками, отступленіями,—я напомню хотя бы слъдующіе факты:

I. Въ письмѣ Бѣлинскаго къ Боткину (II, 295) мы читаемъ: «Страшно подумать о Гоголѣ: вѣдь во всемъ, что ни писаль—одна натура, какъ въ животномъ. Невѣжество абсолютное! Что онъ наблевалъ о Парижѣ-то»!

II. Было время (1835 г.), когда Бълинскій не только заявляль: «я... пока еще не вижу генія въ г. Гоголъ», но и о «Портретъ» утверждаль, что «эта повъсть ръшительно никуда не годится» (Сочин., подъ ред. Венгерова, II, 101).

III. Въ 1840 г. Бълинскій готовъ быль не ставить Гоголя ниже Вальтеръ Скотта и Купера, но (справедливо) былъ для него Гоголь «не русскій поэтъ въ томъ смыслѣ, какъ Пушкинъ, который выразилъ и исчерпалъ собою всю глубину русской жизни», и въ созданіяхъ Гоголя (несправедливо) видълъ нашъ критикъ только «Тараса Бульбу» (котораго «можно равнять» съ пушкинскимъ творчествомъ) и находилъ, что это произведеніе «выше всего остального, что напечатано изъ сочиненій Гоголя» (Письма, II, 137—138).

IV. Когда Юрій Самаринъ глубоко-правильно и глубокопрозорливо написалъ, что Гоголь въ «глухой безцвътный міръ» своего творчества «первый опустился какъ рудокопъ» и что «съ его стороны это было не одно счастливое внушеніе художественнаго инстинкта, но сознательный подвигь цізлой жизни, выражение личной потребности внутренняго очищенія», то надъ этими прекрасными и проникновенными словами Бѣлинскій въ своемъ «Отвѣтѣ Москвитянину» плоско издъвался, т. е., значить, охарактеризованной Самаринымъ сущности и трагедіи Гоголя не понялъ. Такъ же насм'єшливо отвергаль онъ и върную мысль о существенномъ отличіи Гоголя отъ натуральной школы. Правда, въ частномъ письмъ къ Кавелину, который возражалъ Бълинскому и защищалъ Самарина, нашъ знаменитый критикъ, обычно признаваемый за идеалъ искренности, такъ поучалъ своего корреспондента: «На счеть вашего несогласія со мною касательно Гоголя и натуральной школы, я вполнъ съ вами согласенъ, да и прежде думалъ такимъ же образомъ. Вы, юный другъ мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дъло въ томъ, что писана она не для васъ, а для враговъ Гоголя и натуральной школы, въ защиту отъ ихъ фискальныхъ обвиненій. Поэтому, я счель за нужное сдълать уступки, на которыя внутренно и не думаль соглашаться, и кое-что изложиль въ такомъ видъ, который мало импьеть общаго съ моими убпьжденіями касательно этого предмета (курсивъ мой, Ю. А.)... Вы, юный другъ мой, хорошій ученый, но плохой политикъ» (Письма, III, 299). Но неужто Бълинскій въ самомъ дълъ преднамъренно соглашался выступить дурнымъ критикомъ, лишь бы оказаться хорошимъ политикомъ? Мнъ хотълось бы защитить его отъ него самого; мнъ хотълось бы думать, что неискрененъ былъ Бълинскій въ письмѣ, а не въ печати, что онъ не рѣшился бы сознательно обмануть въ литературъ, тяжко согръщить противъ Слова...

По отношенію къ *Тургеневу* надо замѣтить, что (какъ объ этомъ упоминаетъ и Достоевскій въ цитированномъ уже письмѣ къ Страхову), Бѣлинскій отказывалъ ему въ «талантѣ чистаго творчества», въ умѣніи «создавать характеры, ставить

ихъ въ такія отношенія между собою, изъ какихъ образуются сами собою романы или повъсти» (Сочин. подъ ред. Иванова-Разумника, III, 994). Въ «Уъздномъ лъкаръ» критикъ «не понялъ ни единаго слова» и въ «Малиновой водъ» «ръшительно не понялъ Степушки» (Письма, III, 337).

По отношенію къ *Некрасову* надо замѣтить, что о первыхъ его стихотвореніяхъ Бѣлинскій далъ очень презрительный отзывъ, и начинающій поэтъ угнетенно прочелъ о себѣ: «посредственность въ стихахъ нестерпима» (Сочиненія подъ ред. Венгерова, V, 221).

Шагъ за шагомъ покорно слъдуя моему оппоненту, я подхожу къ той тирадъ Н. Л. Бродскаго, которую онъ самъ считаетъ крайне важной, почему и печатаетъ ее курсивомъ: «лучшими страницами своихъ силуэтовъ Ю. И. Айхенвальдъ обязанъ Бълинскому, свое правильное, напр., о Пушкинъ, Лермонтовъ онъ получилъ отъ «неистоваго Виссаріона» (стр. 18).

Я думаю, что какъ лучшими, такъ и худшими страницами своихъ «Силуэтовъ» я обязанъ самому себъ. Но умъстнъе было бы этого вопроса совствить не поднимать. И здъсь я должень отмътить, что вообще г. Бродскій въ своей рецензіи удъляеть мнъ слишкомъ много незаконнаго вниманія: онъ касается не только моего этюда о Бълинскомъ (въ чемъ состояла бы его прямая и единственная задача), но и всей моей литературной дъятельности въ ея цъломъ. При этомъ Н. Л. Бродскій остроумно пользуется методомъ попугая: онъ какъ бы передразниваетъ меня и повторяетъ едва ли не всъ упреки, которые я дълаю Бълинскому, но уже въ примъненіи ко мнѣ; «остріе» моихъ подлинныхъ словъ, укоряющихъ знаменитаго критика, онъ методически обращаеть противъ меня самого, забывая, что Бълинскій — самъ по себъ, а ясамъ по себъ. Это упорное сопоставленіе Бълинскаго и Айхенвальда такъ настойчиво проходить черезъ всю его статью, что рецензенть Русских Втодомостей г. И. Игнатовъ въ своемъ отзывь о ней оть 26 февр. 1914 г. какъ разъ въ этомъ и увидаль ея основное содержаніе, ея центральный тезись: «обвиненія г. Айхенвальда, направленныя противъ Бълинскаго, - самообвиненія». Оттого, что мой оппоненть неуклонно держится такого пріема, даже возникаеть сперва очень обидное для г. Бродскаго предположение, будто великимъ критикомъ онъ считаеть не только Бълинскаго, но и меня. И дъйствительно, лишь при этомъ условіи, лишь при этой предпосылкъ, его полемическая метода получаеть смысль. Иначе что же? Допустимъ на минуту, что во всъхъ недостаткахъ, которые онъ мнъ приписываеть, я въ самомъ деле повиненъ. Такъ ведь я Белинскому не указъ. Такъ въдь изъ того, что я тоже плохъ, не слъдуеть, что хорошь Бълинскій. Но то предположеніе, о которомъ я только что говорилъ, къ счастью (или къ логическому несчастью) г. Бродскаго, скоро и безъ слъда разсъивается, и мой оппоненть выносить мнф, какъ писателю, во истину смертный приговоръ. Набрасывая мой литературный силуэтъ, Н. Л. Бродскій не только приходить къ выводу, что меня характеризують органическая непричастность къ искусству, эстетическое безвкусіе, изумительная непонятливость и бъдность мыслью, но, какъя и раньше отмътилъ, кромъ интеллектуальнаго, онъ убиваеть и мой моральный образъ, лишаеть меня писательской честности, и въ заключеніи его статьи я буквально оказываюсь мертвой душою, человъкомъ на закатъ духовной жизни, жертвой духовной старости, дремоты, нравственнаго опустошенія и опошленія. Такъ если я, въ пониманіи Н. Л. Бродскаго, таковъ, то удивительно ли, что я не менъе дуренъ, чъмъ Бълинскій, и надо ли меня вообще тогда съ Бълинскимъ сопоставлять, и можно ли его мърить мною?

Читатели понимають, что въ своей брошюрѣ, посвященной вопросу о Бѣлинскомъ, я не могу разбирать тѣхъ постороннихъ нареканій, которыя щедро направляетъ г. Бродскій противъ другихъ моихъ статей, противъ моего писательства вообще. Мнѣ было бы даже пріятно поговорить о себѣ, показать, какъ мнимы тѣ противорѣчія, въ которыхъ уличаетъ меня мой рецензентъ, на какихъ довольно элементарныхъ,

недоразумъніяхъ основаны его упреки, но я не имъю права этимъ заниматься, потому что это къ дѣлу не относится и ръчь идеть не обо мнъ, а о Бълинскомъ. Себя я въ правъ защищать лишь постольку, поскольку это находится въ прямой и непосредственной связи съ моей характеристикой послъдняго. Развъ еще вотъ фактическія ошибки г. Бродскаго я обязанъ исправить. Съ одной я уже это сдѣлалъ выше (по поводу Тютчева). Вторая состоить въ следующемъ: уверяя, что я «ни на что иное не годенъ, какъ на елейныя молитвы», и приписывая мнъ странную мысль, будто я отрицаю, что «красота не только во вселенной, но и въ борьбъ, въ общественныхъ движеніяхъ» (точно борьба и общественныя движенія пом'вщаются вн'в вселенной), г. Бродскій къ этому посл'яднему м'асту своей рецензіи д'влаеть такую выноску: «см. отрицательное отношеніе г. Айхенвальда къ «народничеству» (вып. II, 163)»; я посмотрълъ, не безъ тревоги, и увидълъ, что Н. Л. Бродскій ссылается на мои слова о тургеневскомъ Неждановъ: «отъ хожденія въ народъ ушель эстетикъ Неждановъ въ смерть (правда, —для отрицательно отношенія къ хожденію достаточно было бы одного ума, а не эстетики)»; итакъ, мой рецензентъ пишеть и береть въ кавычки «народничество» тамъ, гдъ у меня сказано «хожденіе въ народъ»; итакъ, онъ ужасающе смѣшиваеть великое философское, соціальное и литературное направленіе народничества съ тъмъ «хожденіемъ», которое осудилъ самъ Тургеневъ и которое представляло собою маскарадъ, -- по истинъ, водевиль съ переодъваніемъ, трагическій водевиль...

Возвращаюсь къ напечатанной курсивомъ цитатъ изъ Н. Л. Бродскаго и къ тому, что за нею и что изъ нея слъдуетъ. На нъсколькихъ пунктахъ, очень важныхъ, мой оппонентъ доказываетъ, что я схожусь съ Бълинскимъ въ оцънкъ Пушкина, что «общее представленіе о великомъ поэтъ» иногда «до буквальнаго тождества» у меня—такое же, какъ и въ знаменитомъ «восьмомъ томъ». Изъ этого онъ дълаетъ выводъ, что я «не имълъ никакого права обвинять Бълинскаго, будто тотъ « не вмъстилъ Пушкина». Ясно, однако, что выводъ неправи-

ленъ; ясне, что въ устажъ г. Бродскаго онъ былъ бы правиленъ лишь въ томъ случав, если бы мой противникъ считалъ меня великимъ критикомъ, считалъ меня вмъстившимъ Пушкина, считалъ мое слово о Пушкинв исчерпывающимъ, послъднимъ, такимъ, дальше и глубже котораго идти нельзя. Но въдь ничего подобнаго г. Бродскій не думаетъ, и поэтому изъ его посылокъ логика позволила бы ему сдълать лишь то заключеніе, что, если я совпадаю съ Бълинскимъ, значитъ—я тоже не вмъстилъ Пушкина, я тоже недостаточно глубокъ и зорокъ, я тоже Пушкина всецъло не постигъ, и съ этимъ заключеніемъ я долженъ былъ бы вполнъ искрение, хотя и смущенно, согласиться. Тотъ же силлогизмъ, который строитъ мой критикъ, критики не выдерживаетъ.

Г. Бродскій говорить о себѣ: «мы не настолько наивны, чтобъ объяснять тождественныя оцѣнки ученичествомъ Ю. И., «списываніемъ», но должны напомнить, что, по признанію самого Ю. И. Айхенвальда, «духъ Бѣлинскаго виталь въ классахъ его школы, носился надъ тетрадями его сочиненій, проникаль въ юношеское сердце его», и безсознательно глубоко овладѣлъ имъ и вѣялъ надъ нимъ, когда онъ, быть можетъ, отмахивался, отбивался...» (стр. 23).

То, въ чемъ я признался, передано Н. Л. Бродскимъ върно; но, чтобы я отъ Бълинскаго «отмахивался, отбивался», —это невърно. Вліяніе на себя прославленнаго критика я помню и объективно подтвердилъ это тъмъ, что въ своихъ писаніяхъ не однажды его называю; я даже могу датъ г. Бродскому лишнее оружіе противъ себя (т. е. то, что онъ считаетъ противъ меня оружіемъ) и напомнить ему, что именно въ своей книгъ о Пушкинъ я Бълинскаго сочувственно цитирую (стр. 78). И какъ разъ потому, что это вліяніе я въ себъ хранилъ, къ спеціальному изученію Бълинскаго я въ самомъ дълъ подошелъ «предвзято» (въ чемъ справедливо упрекаютъ меня оппоненты); но только предвзятость моя была совсъмъ не та, о какой они говорятъ: она была въ пользу Бълинскаго; надо мной ръяли свътлыя юношескія впечатлънія, —оттого и вышла такъ сильна

горечь моего разочарованія... О своихъ субъективныхъ настроеніяхъ, впрочемъ, я здісь говорить не долженъ. А что Бълинскій за энергичное утвержденіе интереса къ русской книгъ, за самый фактъ своего труднаго журналистскаго дъла, за то хорошее, что все-таки носилось отъ его страницъ и отъ его стилизованнаго лица, что за все это онъ, несмотря на свои огромные недостатки, заслуживаеть не только моей личной благодарности (въ мнимомъ отсутствіи которой меня укоряють г. Бродскій и другіе), но и, что несравненно важнье, благодарности исторической, -- объ этомъ я вполнъ опредъленно самъ сказалъ на 13 и 14 страницахъ своего очерка. И напрасно думаетъ подозрительный г. Ивановъ-Разумникъ, что патрономъ учителей русской словесности я назваль Бълинскаго «презрительно»; да ужъ и потому не приходится мнъ учителей русской словесности «презирать», что я самъимъю честь принадлежать къ ихъ числу. И я отъ всей души привътствую слова г. Евг. Ляцкаго: «если бы онъ (Бълинскій) не написаль ни слова и только прошелъ по стогнамъ міра свътящимся человъкомъ, то и тогда никто изъ людей, знавшихъ цъну великому и прекрасному, не сказалъ бы, что жизнь Бълинскаго протекла безплодно»; я эти возвышенныя слова тъмъ болъе привътствую, что въдь ни я, да и никто другой, кажется, не говорилъ, будто жизнь Бълинскаго протекла безплодно.

Но я обязанъ все-таки указать, что въ самомъ существенномъ и главномъ я, вопреки гг. Бродскому и Иванову-Разумнику, во взглядахъ на Пушкина съ Бълинскимъ расхожусъ. Сходства здъсь меньше, чъмъ разницы. И это можно видъть именно на томъ примъръ, который особенно выдвигаютъ гг. Бродскій и Ивановъ-Разумникъ, —на вопросъ о томъ, какъ оцънилъ Бълинскій дивную всеотзывность Пушкина. Мои критики соотвътственными цитатами указываютъ, что знаменитый авторъ «восьмого тома» какъ разъ на ней и настаивалъ, подобно тому какъ на ней же настаиваю я. По выраженію г. Иванова-Разумника, я Бълинскаго же «добромъ бью ему челомъ»; категорически заявляетъ мой противникъ, что свою мысль объ

этой чертъ нашего великаго поэта я «заимствовалъ» именно у Бълинскаго.

Если бы мнѣ позволили сдѣлать недоступное провѣркѣ автобіографическое заявленіе, то я сообщиль бы, что, во-первыхъ, идея о всечеловѣчности Пушкина гораздо сильнѣе поразила меня когда-то у Достоевскаго, у Гоголя, у Ключевскаго, чѣмъ у Бѣлинскаго, и что, во-вторыхъ, свою мысль я въ концѣ концовъ заимствовалъ у самого себя; еще вѣрнѣе сказать, что когда читаешь Пушкина, напримѣръ—его «Эхо», то впечатлѣніе всесторонней отзывчивости невольно возникаетъ у каждаго само собою.

То «по истинъ поразительное мъсто», про которое г. Ивановъ-Разумникъ сказалъ, что я возвращаю Бълинскому его же добро, и которое съ моей стороны «невъроятно, но фактъ»,— это мъсто моего этюда читается такъ: «Дивная всеотзывность Пушкина, то, что порождаетъ передъ нимъ благоговъйное изумленіе, то, что для него наиболъе характерно,—это внушаетъ критику (Бълинскому) такія строки: «поэтическая дъятельность Пушкина удивляетъ своею случайностью въ выборъ предметовъ».

И, полный негодованія, на эти слова мои воть какъ откликается г. Ивановъ-Разумникъ: «И все! И больше ни слова! Ни о томъ, откуда взята эта «случайная» фраза Бълинскаго, ни о томъ, когда и въ какомъ контекстъ она сказана...! Довольно!»

Нъть, не довольно: я сейчась укажу г. Иванову, откуда и изъ какого контекста взята мною фраза Бълинскаго,—и послъ этого также и г. Бродскій увидить, что между моимъ прославленіемъ всеотзывности Пушкина и ея характеристикой у знаменитаго критика есть глубокое различіе.

Въ 1843 г. зрълый Бълинскій въ «Отечественныхъ Запискахъ», заявивъ: натура Пушкина была «до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничъмъ больше», продолжаетъ: «Отсюда происте-

кають и великія достоинства, и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки, не случайные, а тъсно связанные съ достоинствами, необходимо условливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо условливаеть собою затылокъ: потому что у кого есть лицо, у того не можеть не быть затылка... Это только лицевая сторона поэзіи Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразить ея объективностькачество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индиферентизму, -- отсутствіе одного преобладающаго убъжденія, а иногда даже устарълость во мнъніяхъ и странные предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который только художникъ (т. е. вмъсть съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени)... Поэтическая дъятельность Пушкина удивляеть своею случайностью въ выборъ предметовъ... Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь им'єють всі эти произведенія («Борисъ Годуновъ», «Пѣсни западныхъ славянъ», «Каменный гость») съ русскимъ обществомъ, съ русскою дѣятельностію? Несмотря на глубоко національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самое себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внъ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское общество вдругъ охладъло къ своему великому, своему дотолъ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ аповеоза своего художническаго величія. Общество въ этомъ случать и право и неправо-право потому, что не всъмъ же быть дилеттантами и знатоками искусства; неправо потому, что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія—водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской... Какъ творецъ русской поэзін, Пушкинъ на въчныя времена останется учителемъ (maestro) всъхъ будущихъ поэтовъ; но если бъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности, -- это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія геніальности, или великости таланта»

(Сочиненія В. Бълинскаго, часть седьмая, изд. четвертое 1883 г. стрр. 365—367).

Такимъ образомъ, что для меня—проявленіе нравственнаго универсализма, то для Бѣлинскаго—нѣчто близкое къ нравственному индиферентизму, устарѣлость во мнѣніяхъ и странные предразсудки; что для меня—преодолѣніе временъ и пространствъ, поэтическое вездѣсущіе, всечеловѣчность и всеотзывность, то для Бѣлинскаго—случайность въ выборѣ предметовъ; что для меня въ Пушкинѣ—лицо, божественное лицо, то для Бѣлинскаго—затылокъ. Тѣ, которые находятъ, что между лицомъ и затылкомъ есть разница, должны признать, что есть разница и въ оцѣнкѣ Пушкина у меня и у Бѣлинскаго.

Я могъ бы доказать существование такого же коренного различія и на нѣсколькихъ другихъ пунктахъ, которые кажутся г. Бродскому точками соприкосновенія между Бълинскимъ и мною; но въ интересахъ краткости и обобщенности я этого не стану дълать; да и безътого слишкомъ ясно, что въ конечномъ постиженіи, въ опредѣляющей концепціи Пушкина я съ авторомъ «Литературныхъ мечтаній» далеко не совпадаю. къ счастью для себя. Ибо никакими снадобьями нельзя вытравить у Бълинскаго роковыхъ строкъ, что «Пушкинъ принадлежить къ той школф искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ и которая даже у насъ не можеть произвести ни одного великаго поэта»; никакими истолкованіями его критики нельзя уничтожить его близорукаго мнънія, что у Пушкина нътъ мысли, глубины, міросозерцанія, что онъ-«только» поэть, «только» художникъ, что его поэзія не поднялась до «современнаго европейскаго образованія» и въ большинствъ своихъ произведеній не даеть «удовлетворительнаго отвъта на тревожные, болъзненные вопросы настоящаго»; никогда не забудеть исторія русской литературы и культуры, что Бълинскій не приняль Татьяны (а Пушкинъ безъ Татьяны, безъ ея принципа, —не Пушкинъ).

И воть, все то, что Бълинскій въ Пушкинъ отвергаеть,

я благоговъйно принимаю: неужели это не разница? А если многое у Пушкина онъ признаваль и любиль (многое такое, что впослъдствіи призналь и полюбиль и я), то это меня не опровергаеть, потому что я и самь это отмътиль, и я не говориль, будто Бълинскій не цъниль Пушкина: я опредъленно и ясно сказаль, что онъ его не дооцтьниль.

Коль скоро ужь г. Бродскій такъ усердно занимается сопоставленіемъ Бълинскаго со мною и меня съ Бълинскимъ, то и по вопросу о *Лермонтовт*ь мнъ было бы нетрудно показать, что, при несомнънномъ сходствъ во взглядахъ обоихъ сравниваемыхъ критиковъ на пъвца Тамары, у меня все-таки въ общемъ—иное представленіе о творчествъ Лермонтова, чъмъ у Бълинскаго, и я никогда, въ противоположность послъднему, не радовался мнимому отсутствію у нашего поэта «сродства съ рефлексіей» (Письма, II, 68), и для моей характеристики лермонтовскаго духа крайне необходимъ тотъ самый «Ангелъ», котораго, какъ нъчто нехарактерное и недостойное, Бълинскій немилосердно изгонялъ.

Въ полемическомъ увлеченіи противъ меня Н. Л. Бродскій не хочетъ признавать даже того неоспоримаго факта, что Бълинскій измѣнилъ своему эстетизму, своей ранней формулѣ: «поэзія не имѣетъ цѣли внѣ себя», что во второмъ періодѣ своей литературной дѣятельности онъ подчинилъ искусство общественной пользѣ. И послѣ ряда цитатъ, подтверждающихъ, что, даже въ стадію отрицанія за искусствомъ автономности, Бълинскаго все-таки «не покидало сознаніе цѣнности эстетическаго воспріятія художественныхъ произведеній», г. Бродскій удивленно замѣчаетъ: «гдѣ г. Айхенвальдъ нашелъ въ его сочиненіяхъ «вульгарный утилитаризмъ», какъ онъ могъ увидѣть основную мысль Бѣлинскаго въ завершающій періодъ его работы—порабощеніе искусства», мы не знаемъ» (стр. 27).

Какъ жаль, что г. Бродскій этого не знаеть, и какъ

странно! Въдь я въ той самой статьъ, которую онъ оспариваеть, привелъ подлинныя слова Бълинскаго. Воть я ихъ повторю и дополню его же новыми словами: «...Нашъ въкъ враждебенъ чистому искусству, и чистое искусство невозможно въ немъ. Какъ во всъ критическія эпохи, эпохи разложенія жизни, отрицанія стараго при одномъ предчувствіи новаго,—теперь искусство—не господинъ, а рабъ: оно служитъ постороннимъ для него цълямъ». (Собр. соч. Бълинскаго подъ ред. Иванова-Разумника, т. II, стр. 963).

Итакъ, если Бълинскій утверждаетъ, что «теперь искусство—не господинъ, а рабъ», то не удивительно ли, что Н. Л. Бродскій не увидълъ здѣсь порабощенія? И если Бѣлинскій утверждаетъ, что «каждый умный человѣкъ вправѣ требовать, чтобы поэзія поэта... исполнена была скорбыо... тяжелыхъ неразрѣшимыхъ вопросовъ», то не удивительно ли, что Н. Л. Бродскій думаетъ, будто лишь моя «ослѣпленная предубѣжденность» увидѣла здѣсь заказанную скорбь? (стр. 28). Я ли слѣпъ?

Если, далъе, г. Бродскій не върить мнъ, что Бълинскій, какъ художественный критикъ, направилъ свои шаги отъ эстетики въ сторону вульгарнаго утилитаризма и что Писаревъ-его законный сынъ, то, быть можеть, онъ повърить въ этомъ своему соратнику по борьбъ со мною, одному изъ наиболъе сильныхъ и свъдущихъ отрицателей моей характеристики Бѣлинскаго, г. Иванову-Разумнику? А г. Ивановъ-Разумникъ по поводу только что приведенныхъ словъ знаменитаго критика говорить следующее: «Искусство не господинь, а рабь: эта лапидарная формула знаменуеть собою крайній предъль въ эволюціи взглядовь Бълинскаго на искусство; искусство служить постороннимь для него цълямь; это изреченіе послужило исходным пунктом для построенія шестидесятниками своего рода утилитаристической эстетики (курсивъ мой. Ю. А.). Правда, Бълинскій оговаривается, что эти формулы его относятся только къ «критическимъ эпохамъ»; но эта оговорка не мъняеть общаго смысла формуль: Бълинскій въ развитіи своихъ идей на искусство достигъ до крайней возможной точки отрицанія самоцюльнаго искусства и утвержденія служебной его роли (курсивъ мой. Ю. А.)... Взгляды Бълинскаго на искусство въ 1845 году и десятью годами раньше — это два полюса, двъ крайности»... (Тамъ же, ІІ, 960).

Я подъ этой тирадой г. Иванова-Разумника только потому не подписываюсь объими руками, что всегда подписываюсь одной. И мнъ очень пріятно, что въ данномъ пунктъ я могу безпечно не думать о самозащить, такъ какъ меня отъ г. Бродскаго могуче защищаеть его авторитетный союзникъ, мой авторитетный противникъ.

Если же, наконецъ, Н. Л. Бродскій не въритъ все-таки ни мнъ, ни моему, хотя и минутному, единомышленнику, то ужъ несомнънно повъритъ онъ самому Бълинскому. А самъ Бълинскій воть что пишеть Боткину въ завершающій періодъ своего творчества и—увы! своей жизни: «...Мнъ поэзіи и художественности нужно не больше, какь настолько, чтобы повъсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертацією. Для меня—дѣло въ дѣлѣ. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлъніе. Если она достигаеть этой цъли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня тымь не ментье интересна, и я ее не читаю, а пожираю... Разумъется, если повъсть возбуждаеть вопросы и производить нравственное впечатлъніе на общество, при высокой художественности,тъмъ она для меня лучше; но главное-то у меня все-таки въ дълъ, а не въ щегольствъ. Будь повъсть хоть расхудожественна, да если въ ней нътъ дъла-то, братецъ, дъла-то: je m'en fous. Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалъю и болью о тъхъ, кто не сидитъ въ ней» (Письма, III, 324).

Такъ вотъ, критикъ художества, который въ художественномъ произведени видитъ «дѣло» не въ художественности, а въ чемъ-то другомъ; который думаетъ, что въ созданіяхъ

художества художественность, это-щегольство; который требуеть, чтобы повъсть «главное, вызывала вопросы», - такой критикъ, на мой взглядъ, повиненъ въ элементарно - философской безграмотности и долженъ заниматься чемъ угодно, только не критикой. А если вспомнить, что раньше этотъ самый авторъ зналъ, гдъ выходъ изъ ненужной «односторонности», и самъ возвъщалъ простую и прозрачную истину: кискусство не должно служить обществу иначе, какъ служа самому себъ; пусть каждое идетъ своей дорогой, не мъшая другь другу»; если вспомнить, что ему были извъстны эстетическія идеи Шеллинга, Гегеля, Ретшера; если вспомнить, значить, что на высоть онь быль, -- то, вопреки г. Бродскому, это неотразимо приведеть насъ къ убъжденію, что Бълинскій упаль, оказался въ духоть и тьснинахь, или же что и прежде онъ широтъ и свободъ внутренне не сопричащался, мимо великаго прошелъ безнаказанно, истины какъ слъдуетъ себъ не усвоилъ.

Если бы онъ ее органически претворилъ въ себя, ему не пришлось бы «при видъ босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицъ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извозчика, и солдата, и чиновника, и офицера, и гордаго вельможи», --ему не пришлось бы при видъ всей этой житейской обыденности задаваться сомнѣніемъ: «и послѣ этого имѣеть ли право человъкъ забываться въ искусствъ и знаніи!» и восклицать: «начинаю бояться за себя-у меня рождается какая-то враждебность противъ объективныхъ созданій искусства» (что вмѣняетъ ему въ высокую нравственную заслугу П. Н. Сакулинъ). Ибо тогда Бълинскій поняль бы, что объективныя созданія искусства какъ разъ и представляють собою, самымъ фактомъ своего существованія, одно изъ могучихъ средствъ противъ соціальнаго горя (какъ это понималъ, напримъръ, Глъбъ Успенскій, который около Венеры Милосской поставилъ сельскаго учителя Тяпушкина,-и Венера, гордая, мраморная, «объективная», исцівлила, «выпрямила» душу приниженнаго русскаго учителя, и онъ почувствовалъ свое аристократическое родство съ богиней красоты). Бълинскій поняль бы въ такомъ случав, что лишь тогда искусство—для жизни, когда искусство—для искусства; что никакого столкновенія между искусствомъ и жизнью нѣтъ и быть не можетъ и никакой эстетическій кодексъ (вопреки г. Ляцкому) не требуетъ «презрънія къ грубой дъйствительности»; что надо только искусству быть самимъ собою,—остальное приложится, и оно, искусство, само уже войдетъ въ общую систему бытія.

Только это и было бы синтетически-возсоединяющимъ взглядомъ на искусство и жизнь; а то, что получилось у Бълинскаго, это, въ противность утвержденіямъ гг. Бродскаго и Сакулина, вовсе не есть «синтезъ обоихъ методовъ-эстетическаго и историко-соціологическаго» въ литературной критикъ (слова Н. Л. Бродскаго), вовсе не есть сочетание «проблемы объ искусствъ съ тъмъ великимъ цълымъ, которое называется жизнью человъческой» (слова П. Н. Сакулина): синтезъ не поступается ни однимъ изъ синтезируемыхъ элементовъ, а Бълинскій поступился художественностью и даже «расхудожественностью»: что же остается отъ искусства и для искусства? Мы знаемъ, что въ этомъ своеобразномъ «синтезъ» у Бълинскаго не оказалось надлежащаго мъста даже для Пушкина. И когда П. Н. Сакулинъ говоритъ, что въ эстетическую критику Бълинскій внесъ «также методы историческій и соціологическій», то хочется напомнить, что отъ слова также синтезъ еще не получается.

Если же, какъ указываетъ Н. Л. Бродскій въ рядѣ цитатъ, сознаніе эстетическихъ цѣнностей никогда не покидало Бѣлинскаго вполнѣ, то здѣсь мой оппонентъ совершенно правъ; но вѣдь эти самыя цитаты и еще многія другія я именно и помнилъ, когда писалъ, что и послѣ того какъ Бѣлинскій направилъ рѣшительные шаги въ сторону вульгарнаго и наивнаго утилитаризма, его рѣшительность и на этотъ разъ, какъ всегда, оказалась «мимолетной», и «у него осталось кое-что отъ прошлаго, мелькали отблески прежняго эстетизма, мерцаніе покинутой истины». Противъ чего же, собственно

возражаетъ г. Бродскій? Вѣдь вопросъ сводится лишь къ тому, вѣрно ли мое утвержденіе, что во второй періодъ своей дѣятельности Бѣлинскій «въ общемь и главномъ покорилъ искусство эпохѣ и ея соціальнымъ потребностямъ, лишилъ его свободы, обрекъ его на подчиненную и служебную роль» и что, хотя были у него «обычныя уклоненія отъ этой прямолинейности и обычныя новыя возвращенія къ ней,—но основная мысль Бѣлинскаго въ завершающій періодъ его работы, въ пору его зрѣлости, мысль, бѣгущая черезъ всѣ его тогдашніе зигзаги, это—порабощеніе искусства» (стр. 5 моего очерка). Мы уже видѣли, что на сторонѣ моего утвержденія—г. Ивановъ-Разумникъ и самъ Бѣлинскій со своимъ печальнымъ девизомъ: «искусство не господинъ, а рабъ».

Неуклонно измъряя Бълинскаго мною, возвращая мнъ тъ упреки, которые я посылаю ему, Н. Л. Бродскій по поводу моего указанія, что знаменитый критикъ не имълъ своего знанія и своего мивнія, что Надеждинь, Полевой, Станкевичь, Бакунинь, Боткинь, Герцень, Катковь-всь давали ему свъдънія, мысли и даже слова, то поводу этого мой рецензенть дълаеть «кстати» запрось, не быль ли я самь «слищкомъ усерднымъ читателемъ примъчаній С. А. Венгерова въ полномъ собраніи сочиненій Бѣлинскаго?» «Не только почти всъ «свъдънія», но и многія «слова» г. А. совпадають съ тъмъ, что и какъ указываеть извъстный почитатель таланта и личности Бълинскаго: напр., мелочный фактъ, что Б. смъялся надъ тъми, кто выводить «трагедію» оть «козла», отмъченъ у Венгерова въ V т., стр. 545; «безпощадная травля» Полевого на 13 стр. силуэта сливается съ выраженіемъ Венгерова-«безжалостная травля» Полевого, и мн. др.» (стр. 10 статьиброшюры г. Бродскаго).

Если бы я былъ *«слишкомъ* усерднымъ читателемъ примъчаній С. А. Венгерова» къ Бълинскому и всъ мои *«свъдънія»* и многія *«слова»* совпадали съ тъмъ, *«что и какъ* ука-

зываеть извъстный почитатель таланта и личности Бълинскаго», то я и самъ, естественно, оказался бы такимъ почитателемъ, а этого справедливо не признаетъ г. Бродскій. И онъ не отдаеть себъ отчета въ томъ, что своею фразой причиняеть большую обиду не столько мнѣ, сколько почтенному С. А. Венгерову. Дальше, если я за «свъдъніями» обращался между прочимъ и къ обстоятельному комментарію лучшаго знатока сочиненій Бълинскаго, то мнъ трудно понять. что же въ этомъ дурного. Правда, т. Бродскій тонко намекаетъ на то, что я совершилъ плагіатъ, --- но вотъ съ этимъ я никакъ не могу согласиться. Я думаю, что у г. Венгерова-свои слова, а у меня-свои. Если же отношение Бълинскаго къ Полевому мы оба въ одномъ случат называемъ «травлей» (я-«безпощадной», а г. Венгеровъ-«безжалостной»), то это не потому, чтобы мнъ не давали спать чужіе словесные лавры и я произвелъ литературное хищеніе, а по той самой причинъ, по какой, напримъръ, тотъ предметъ, которымь я сейчась вожу по бумагь, и я, и г. Венгеровь именуемъ одинаково: перо, совпаденіе, нисколько не подозрительное. А что касается «козла», то могу увърить моего изобличителя, что 545-ой страниць, на которую онь ссылается, предшествуеть, какь это обыкновенно бываеть, страница 75-ая: на ней-то я «козла» и нашель, въ текстъ самого Бълинскаго. Тамъ же; гдъ опредъленный фактъ я, дъйствительно, взяль у г. Венгерова (свъдъніе о томъ, какія стихотворенія Лермонтова были напечатаны въ «Одесскомъ Альманахѣ»), тамъ я, разумѣется, по обычаю всѣхъ не крадущихъ людей, С. А. Венгерова назвалъ.

Свое тяжкое, почти уголовное обвиненіе г. Бродскій, согласно его замѣчанію, можетъ подтвердить и другими данными (кромѣ «травли» и «козла»), и даже «многими другими»,— въ такомъ случаѣ онъ обязанъ былъ это и сдѣлать. Какъ человѣкъ науки, онъ вѣдь знаетъ, что въ рецензіи, которая притязаетъ быть научной, необходимы точность, необходимы факты, и нельзя, выступая обвинителемъ, прикрываться удоб-

ной не для обвиняемаго скороговоркой: «и мн. др.». Къ тому же, доказать мое преступленіе г. Бродскому, очевидно, было бы и не трудно, коль скоро, по его словамъ, онъ собралъ противъ меня, какъ мы только что видъли, не просто еще «другія» улики, а даже и «многія» другія. Вотъ почему весь этотъ пассажъ я и оставляю на совъсти моего оппонента.

Наконецъ, своему обыкновенію сопоставлять меня съ Бълинскимъ и напоминать, что я «самъ таковъ», Н. Л. Бродскій могь бы измінить, хоть въ этомъ случать, еще и потому, что знаменитаго критика я упрекалъ въ чрезмърномъ пользованіи не чужими книгами, а чужимъ устнымъ и письменнымъ словомъ; и смыслъ этого укора былъ очень далекъ отъ обвиненія въ плагіать, а заключался въ томъ, что, на мой взглядъ, Бълинскій не былъ ревнивымъ владътелемъ своихъ страниць и, въ противоположность всякому истинному писателю, не дорожилъ чувствомъ авторской собственности, давалъ говорить за себя другимъ-хотя бы Боткину и Каткову. Первому онъ пишетъ, напримъръ: «Сейчасъ прочелъ въ письмъ твоемъ о Гете и Шиллеръ-умнъе и истиннъе этого ничего не читалъ-просто не могу начитаться. Какъ хочешь, а вклею въ статью, подъ видомъ выписки изъ нъкоего частнаго письма» (Письма, II, 207). Ему же онъ пишеть: «Катковъ оставилъ мнѣ свои тетрадки-я изъ нихъ цѣликомъ бралъ мъста и вставлялъ въ свою статью. О лирической поэзін почти все его слово въ слово» (Тамъ же, II, 215). Этими фразами Бълинскій, въ порядкъ предвосхищенія, вмъсто меня отвъчаетъ П. Н. Сакулину на его замъчаніе: «Бълинскій воспользовался ими (тетрадками Каткова), но воспользовался по своему (Голосъ минувшаго, IV, 107).

И, вопреки тому же П. Н. Сакулину, дѣло здѣсь не въ томъ, какую объективную цѣнность имѣли по своему содержанію эти тетрадки или тѣ страницы о романтизмѣ, которыя для Бѣлинскаго написалъ Боткинъ, а въ томъ, что знаменитый критикъ, чуждый авторскаго самолюбія, вообще не стѣснялся свои слова замѣнять чужими.

Несмотря на то, что одно изъ своихъ опредъленій Бълинскаго, какъ умственной силы: «нищій студентъ» я сдълаль въ соотвътственномъ контекстъ и взялъ въ кавычки, опъ не спасли меня отъ негодующаго возгласа Н. Л. Бродскаго: «и этотъ упрекъ былъ брошенъ г. Айхенвальдомъ!»—т. е. выходитъ, что я въ бъдности упрекалъ Бълинскаго, въ отсутстви денегъ.

О бѣдности Бѣлинскаго укоризпенно напоминаютъ мнѣ и гг. Ч. В—скій и П. Н. Сакулинъ. По поводу моихъ словъ, что нашъ критикъ «писалъ о чемъ угодно, и, кажется, ему было все равно, о какой книгѣ отозваться, хотя бы даже о бумагѣ»,—замѣчаетъ г. В—скій, что это «многописаніе о вздорныхъ иногда книжонкахъ» сопровождалось для Бѣлинскаго «муками» и вынуждаемо было «самой обнаженной нуждою».

Съ моей безсердечной точки зрънія, при оцънкъ литературы Бълинскаго, какъ и всякаго другого писателя, никто не обязанъ считаться съ имущественнымъ положеніемъ автора; но я не хочу на этомъ настаивать (и такъ уже г. Сакулинъ обвиняеть меня въ «настоящемъ издъвательствъ надъ страдающимъ человѣкомъ»). Лучше я укажу на то, что, къ чести Бълинскаго и въ защиту отъ его защитниковъ, причиной его многописанія была вовсе не нужда, причиной была внутренняя потребность. Въ подтверждение этого можно сослаться на слова самого Бълинскаго: «Вотъ навязалъ же чортъ страстишку. Будь я богаче Ротшильда (курсивъ мой. Ю. А.)—не перестану писать не только большихъ критикъ, даже рецензій: Какъ мнъ ни тяжело, но работаю дюже и безъ рефлексіи—худо ли, хорошо ли-но перо трещить, черниль не успъваю подливать, бумаги исходитъ гибель. Видно, ужъ такъ Богъ уродилъ...» (Письма, II, 29). И трогательно звучить его увъреніе, что если бы можно было безпрепятственно печатать свои страницы, то онъ бы «умеръ на дести бумаги и, если бы чернила всъ вышли, отвориль бы жилу и писаль бы кровью» (Тамъ же, II, 192). Предлагая свои литературныя услуги Краевскому, онъ такъ

характеризуеть себя: «сотрудникъ, который въ состояніи ежемъсячно поставлять около десяти листовъ оригинальнаго писанья или маранья... я бы желаль взять на себя разборь всъхъ книгъ чисто литературныхъ и даже нъкоторыхъ другихъ... критика своимъ чередомъ, смѣсь тоже» (Тамъ же, I, 311). «Отечественныя Записки» онъ готовъ снабжать «преогромною библіографіею и преизобильною полемикою» (І, 320). «Я ужь устальоднъхъ критическихъ статей наваляль 10 листовъ дьявольской печати, кромъ рецензій» (II, 94). Герцену онъ жалуется на себя, что у него «въ рукъ всегда готовыя общія мъста и низенькая манера писать обо всемъ» (III, 101). Значитъ, «бъдность», какъ онъ самъ говоритъ, въ немъ только «развила энергію бумагомаранія и заставила втянуться и погрязнуть по уши въ вонючей тинъ расейской словесности» (II, 245); значитъ, Бълинскій самъ, сущностью своей писательской организаціи, пошелъ навстръчу тому, что впослъдствии онъ неоднократно оплакивалъ,-т. е. своей роли въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Святители! о чемъ не пишу я ему (Краевскому), какихъ книгъ не разбираю! И по части архитектуры (да еще какой: византійской!), и по части медицины... Онъ сдълалъ изъ меня враля, шарлатана...» (III, 95). «У Краевскаго я писаль даже объ азбукахь, пъсенникахъ, гадательныхъ книжкахъ, поздравительныхъ стихахъ швейцаровъ клубовъ (право!), о книгахъ о клопахъ, наконецъ, о нъмецкихъ книгахъ, въ которыхъ я не умѣлъ перевести даже заглавія; писаль объ архитектуръ, о которой я столько же знаю, сколько объ искусствъ плести кружева. Онъ меня сдълалъ не только чернорабочимъ, водовозною лошадью, но и шарлатаномъ, который судить о томъ, въ чемъ не смыслить ни малъйшаго толку» (III, 280).

Моихъ оппонентовъ, особенно гг. Иванова-Разумника и Бродскаго, глубоко возмущаетъ, что я «дерзнулъ» назвать Бѣлинскаго «Виссаріонъ-Отступникъ», что, по моему, онъ «хронически и безъ явной трагедіи» мѣнялъ свои убѣжденія.

Эту мысль мою г. Ивановъ-Разумникъ считаетъ «по истинъ невъроятной», взволнованно говоритъ о ней,—а г. Бродскій даже недоумъваетъ: «Какъ поднялась рука написать эти ужасныя строки! Какъ не дрогнуло сердце!»

Я безъ всякой ироніи заявляю, что волненіе моихъ критиковъ для меня понятно и симпатично. Но что же мнѣ дѣлать, когда я читаю у Бълинскаго такія строки: «Я и теперь почти каждый день разсчитываюсь съ какимъ-нибудь своимъ прежнимъ убъжденіемъ и постукиваю его, а прежде такъ у менячто ни день, то новое убъждение (курсивы мои. Ю. А.). Вотъ ужъ не въ моей натуръ засъсть въ какое-нибудь узенькое опредъленьице и блаженствовать въ немъ» (Письма, 1, 334)? Какъ же мнъ не говорить объ отступничествъ, когда Бълинскій пишетъ Герцену: «И какъ хорошо, что мои статьи печатались безъ имени, и я въ новомъ журналѣ всегда могу отпереться отъ того, что говориль встарь, если бъ меня стали уличать!» (III, 110)? Какъ же быть, если Бълинскій изо всъхъ своихъ правъ «съ особеннымъ остервенъніемъ» настаиваеть на своемъ «правъ ошибаться» (III, 332), если «соврать» ему «ни по чемъ» и одно можеть его «привести въ дисгармонію, --это, если» онъ «холодно совралъ» (I, 221)? Гдѣ же «явная трагедія», когда, напримѣръ, начиная съ «Литературныхъ мечтаній», Бълинскій твердить, что Пушкинъ 1830-мъ годомъ кончился, «обмеръ или умеръ», а впослъдствіи, какъ ни въ чемъ не бывало, спокойно пишетъ: «какъ смъшны и жалки были безпокойства добрыхъ людей о паденіи поэта»?

Я не могъ не признать удручающей временности и неорганичности убъжденій Бълинскаго, когда онъ самъ свое пріобщеніе къ фихтеанству именуетъ «прогулкой»: «я прогулялся по немъ (по фихтеанству) больше для компаніи, чтобы тебъ (Бакунину) не скучно было одному», въ то время какъ для Бакунина оно было «послъдовательнымъ переходомъ изъ одного момента въ другой» (Письма, I, 277).

Я въ своей статът назвалъ рецензію Бълинскаго на книгу Дроздова «прекрасной»,—но самъ Бълинскій такъ объясняеть

мнъ, почему она прекрасна: «Ты (Бакунинъ) сообщилъ мнъ фихтеанскій взглядъ на жизнь—я уцъпился за него съ энергіею, съ фанатизмомъ; но то ли это было для меня, что для тебя? Для тебя это былъ переходъ отъ Канта, переходъ естественный, логическій; а я—мнъ захотълось написать статейку—рецензію на Дроздова и для этого запастись идеями. Я хотълъ, чтобы статья была хороша,—и вотъ вся тутъ исторія» (1, 219).

Я въ своей стать в сказалъ, что Бълинскій «каждой мысли, каждой дамы-рыцарь только на часъ», но полчаса я прибавилъ оть себя, потому что самъ Бълинскій говорить: «иная мысль живеть во мнъ полчаса» (I, 220). И если онъ, правда, здъсь же прибавляеть: «но какъ живеть?-такъ, что если сама не оставить меня, то ее надо оторвать съ кровью, съ нервами», то я, помня, что въ психологіи методъ самонаблюденія требуетъ корректива въ методъ наблюденія, и сопоставляя это самочувствіе Бълинскаго съ его же признаніями, что убъжденія онъ постукиваль, мъняль каждый день, по нимъ прогуливался, что въ печати ему ничего не стоило «соврать», -- лишь бы «соврать» не холодно, что онъ дорожилъ правомъ ошибаться, -- я питаю увъренность, что и въ данномъ пунктъ онъ это право свое осуществилъ и охарактеризовалъ самого себя далеко не точно, хотя бы и добросовъстно. Я тъмъ болъе смъю это утверждать, что въ своемъ очеркъ я же взялъ Бълинскаго подъ защиту противъ него самого и не согласился съ нимъ, будто онъ «бралъ мысли готовыя, какъ подарокъ»: я указалъ, что «съ идеями онъ сейчасъ же роднился, и психологическая самостоятельность у него была». Но все дъло въ томъ, что это родство было не близкое, скоръесвойство, что эта самостоятельность была не глубокой. Онъ съ идеями роднился, —да; онъ ихъ усыновлялъ, но въ тотъ же часъ или черезъ полчаса снова отчуждалъ ихъ, —привязчивый отчимъ всъхъ идей, не отецъ ни одной! Мыслитель вспыльчивый, Бълинскій быстро загорался и быстро погасаль. И ничьмь объективнымъ не подтвердилъ онъ своего признанія, что чужія мысли онъ усвоивалъ себъ «жизнію своею, цъною слезъ, воплемъ души»; что къ нему «приставали снаружи и тотчасъ

отваливались» только истины, привитыя чисто логически. и что потомъ, наведенный на нихъ жизнью, онъ уже принималъ ихъ съ убъжденіемъ. Не слышится у Бълинскаго той органической и той трагической глубинности, которая обращаеть Савла въ Павла, дядю Власа изъ преступника въ праведника; неуловимый, текучій, шаткій, политеисть убъжденій, онь, какъ писатель, не обнаруживаеть въ себъ жизненнаго нерва, какой-то послъдней серьезности, подлиннаго я. «Моя пріимчивая натура не упустила случая кое-чъмъ «одолжиться»—эти слова Бълинскаго (въ письмѣ къ Боткину) върно характеризують его умственную сущность. Необычайная пріимчивость и переимчивость при содъйствіи не глубокаго, но цъпкаго ума дълали то, что въ этотъ умъ идеи скоро впадали, но изъ него же выпадали. превращая Бълинскаго въ какой-то калейдоскопъ, гдъ можно найти самыя различныя, порою яркія комбинаціи элементовъ и гдъ все-таки нътъ единой системы. Психологическая самостоятельность его заключалась въ горячемъ темпераментъ и въ томъ, что собственный голосъ его имълъ, разумъется, свой особый психологическій тембръ. Но говориль Бълинскій съ чужого голоса. Онъ былъ одаренъ, но такъ, что умълъ лишь продолжать иден, которыми одолжался у другихъ, идти дальше (или идти назадъ), вызывать иллюзію интеллектусобственности. На самомъ же дълъ альной всегда возвращалъ только то, что самъ воспринялъ раньше отъ кого-нибудь изъ своихъ собесъдниковъ. И такъ какъ послъднихъ было много и разнообразно, то и выходило, что подъ вліяніемъ кого-либо одного изъ членовъ кружка Бѣлинскій спорилъ и ссорился съ другими или, получивъ, напримъръ, Гегеля изъ рукъ Бакунина, онъ потомъ сдълалъ изъ этого своеобразное собственное гегеліанство и разошелся съ тъмъ самымъ Бакунинымъ, на котораго Грановскій возлагаль отвътственность за статьи Бълинскаго о бородинскомъ сраженіи. Когда г. Ивановъ-Разумникъ утверждаетъ, что «переходъ Бълинскаго къ «соціальности» и соціализму быль сділань вопреки и противъ мнънія друзей его кружка», то, кажется, упускаеть изъ виду мой

оппонентъ, что съ ученіемъ соціализма знакомили Бълинскаго Анненковъ и Панаевъ, переводившій для него статьи Леру; недаромъ знаменитый критикъ говорить о Панаевъ: «а еще восхищается Леру и бредить «égalité, fraternité; liberté» (Письма, II, 300). Вообще, можно ли по совъсти отвергать свидътельство Боткина, что «всякій клалъ свою посильную лепту въ общую сокровищницу, которою была критика Бълинскаго?» Если г. Ивановъ-Разумникъ, отстаивающій интеллектуальную самобытность Бълинскаго, побъдоносно спрашиваетъ меня, чьи «внушенія» повторяль онь въ «Отечественных» Запискахъ» въ продолжение своего восьмилътняго тамъ сотрудничества, то я скажу на это, что, признавая Бълинскаго въ главныхъ вопросахъ крайне внушаемымъ, «рупоромъ кружка», я не думаю, однако, и никогда не говорилъ, будто ему подсказывали каждое слово, каждую рецензію, каждый отзывъ. А ть цитаты, которыя въ этой брошюръ я привелъ и еще приведу, слишкомъ ясно показываютъ, что «пріимчивая» натура нашего критика «не упускала случая кое-чъмъ одолжиться» отъ своего петербургскаго окруженія и въ періодъ «Отечественныхъ Записокъ». Не только испытывалъ на себъ Бълинскій «дьявольскую способность передавать» Михаила Бакунина (уже въ 1839 г.; см. Письма, II, 6), но даже и скромный Николай Бакунинъ, послъ того какъ Бълинскій, бывало, «толкнетъ» его на мысль при совмъстномъ чтеніи Пушкина, «уже бъжалъ впередъ, угадывалъ ее во всякомъ стихъ, развивалъ его такъ полно и непосредственно, такъ вдохновенно и чуждо всякой рефлексій, что»—сознается Бълинскій—«право, я ему тутъ сдълалъ столько же, сколько и онъ мнъ» (П, 81). И воть почему я больше върю не П. Н. Сакулину, который на 107 стр. своей второй статьи заявляеть, что «какъ-то странно говорить о вліяніи Каткова на Бълинскаго, если только не злоупотреблять этимъ словомъ», а самому Бълинскому, который на этотъ счетъ думалъ иначе: «къ прі взду Каткова я былъ уже приготовленъ, —и при первой стычкъ съ нимъ отдался ему въ плънъ безъ противоръчія. Смъшно было, хотълъ спорить, и вдругъ вижу, что уже нътъ ни силъ, ни жару, а черезъ 1/4 часа, вмѣстѣ съ нимъ, началъ ратовать противъ всѣхъ, сбитыхъ съ толку мною же» (II, 188). «Онъ (Катковъ) много разбудилъ во мнѣ, и изъ этого многаго бо́льшая часть воскресла и самодѣятельно переработалась во мнѣ уже послѣ его отъѣзда» (II, 200). «Чѣмъ больше думаю, тѣмъ яснѣе вижу, что пребываніе въ Питерѣ Каткова дало сильный толчокъ движенію моего сознанія. Личность его проскользнула по мнѣ, не оставивъ слѣда; но его взгляды на многое—право, мнѣ кажестя, что они мнѣ больше дали, чѣмъ ему самому» (II, 211). Если П. Н. Сакулинъ вообще вѣритъ Бѣлинскому, то можетъ быть, и онъ здѣсь больше повѣритъ ему, чѣмъ себѣ?

По тому же вопросу о безболъзненной и легкой перемънчивости нашего критика, Н. Л. Бродскій указываеть мнъ, что, вопреки моему утвержденію, Бълинскій не только въ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печати «признавался въ своей измънчивости», и при этомъ отсылаеть меня къ его сочиненіямъ—т. V, стр. 445 и т. IV, стр. 482.

Такъ какъ рѣчь идетъ о «явной трагедіи», то г. Бродскій долженъ быль бы цитировать меня особенно точно; и тогда обнаружилось бы, что я говорилъ не о томъ, «признавался» ли Бѣлинскій въ своей измѣнчивости или нѣтъ, а о томъ, «сокрушался» ли онъ о ней: это—большая разница. Кромѣ того, ссылка моего рецензента—странная: если онъ имѣлъ въ виду сочиненія Бѣлинскаго подъ редакціей Венгерова, то ни 445 стр. V т., ни 482 стр. IV т. не подтверждаютъ мысли г. Бродскаго.

На 482 стр. IV т. Бълинскій вообще о себъ лично, вопреки моему оппоненту, не произносить ни слова: онъ тамъ противополагаеть людей, постоянно формирующихся, людямъ, совершенно готовымъ, въ родъ Менцеля, «бъднымъ, жалкимъ, ограниченнымъ, мелкимъ», и предпочтеніе отдаеть первымъ, т. е. самому себъ (если, какъ думаетъ г. Бродскій, критикъ разумълъ самого себя); такимъ образомъ, 482 страница IV т. во всякомъ случаъ подтверждаеть указаніе не г. Бродскаго, а мое,—т. е. слова моего этюда о томъ, что, въ печати, несмиренному Бълинскому случалось даже насмъшливо выговаривать лицамъ,

которыя однажды навсегда составили себъ опредъленныя мнънія.

Что касается 445-й страницы V тома, то Бълинскій, дъйствительно, говорить тамь о себъ,—говорить, что театръ давно уже пересталъ быть для него храмомъ. По этому поводу онъ восклицаеть: «Боже мой! какъ я перемънился! Но эта метаморфоза—общій удъль всъхъ людей». И авторъ просить «не смотръть на него съ ненавистью, не осуждать его за «желчную злость»: она-де объясняется тъмъ, что «нъкогда его сердце билось однимъ безконечнымъ, а въ душъ жили высокіе идеалы, а теперь его сердце полно одного безконечнаго страданія, и идеалы разлетълись при грозномъ свъточъ опыта, и онъ своимъ докучливымъ ворчаньемъ мститъ дъйствительности за то, что она такъ жестоко обманула его». Предоставляю г. Бродскому и читателямъ судить, что все это имъетъ общаго съ моимъ тезисомъ: Бълинскій хронически, безъ явной трагедіи мънялъ убюжденія и въ печати объ этомъ не сокрушался.

Основной грѣхъ моей характеристики Бѣлинскаго П. Н. Сакулинъ видитъ въ томъ, что я создалъ для него «нарочито-аляповатую» психологію, и притомъ такую, которая идетъ въ разрѣзъ съ моимъ обычнымъ пониманіемъ людей вообще и писателей въ особенности. Именно, по мнѣнію моего оппонента, высказанному въ его первой статъѣ и подробно развитому во второй, есть противорѣчіе между моимъ убѣжденіемъ, что «ничьимъ продуктомъ не служитъ никакая личность», и моимъ утвержденіемъ, что Бѣлинскій—постоянный объектъ различныхъ вліяній, «руководимый руководитель, аккумуляторъ чужого».

Неужели, однако, надо разъяснять, что никакого противоръчія между этими двумя тезисами нътъ? Развъ быть продуктомъ и быть объектомъ вліяній, это—одно и то же? Ничья личность не есть ничей продуктъ; но есть такія личности, которыя очень легко поддаются разнымъ вліяніямъ. Чтобы признавать по-

слъднее, вовсе не надо быть, вопреки П. Н. Сакулину, детерминистомъ, и своему индетерминизму я не измънялъ. Есть личности активныя, и есть пассивныя. При этомъ я въдь говорилъ, разумъется, только объ умственной личности, о Бълинскомъавторъ, объ интеллектуальныхъ вліяніяхъ, — о всякихъ идеяхъ, мысляхь, свъдъніяхь, взглядахь, оцънкахь, теоріяхь, о томъ, что идеть извнъ; я говорилъ, что «въ чисто интеллектуальномъ смыслъ» у Бълинскаго не было своего мнънія и своего знанія, своего a priori. И развѣ въ самомъ дѣлѣ не существуютъ мыслители чужихъ мыслей? Въ психологической же самостоятельности, какъ мы уже видъли, я Бълинскому не только не отказывалъ, но совершенно опредъленно и настойчиво ее за нимъ призналъ (стр. 6). И такъ странны, хотя и неоспоримы, именно потому странны, что неоспоримы, слова П. Н. Сакулина: «Его (Бълинскаго) не смъщаешь ни съ Станкевичемъ, ни съ Бакунинымъ, ни съ Катковымъ, ни съ Боткинымъ» (стр. 106 Голоса минувшаго). Оттого мы и носимъ собственныя имена, что насъ нельзя смъщать другь съ другомъ. У каждаго есть своя душа, и ничья душа не паръ. Всякій индивидуумъ-индивидуальность. Развъ изъ этого правила я дълалъ для Бълинскаго исключеніе? Я уже выше сказалъ, что чужія идеи произносиль Бълинскій голосомь, конечно, особаго психологическаго тембра,—не того, какой быль у Бакунина или у Станкевича, или у кого-нибудь еще. Мнъ только казалось и кажется, что самимъ собою, живой индивидуальностью, Бълинскій быль гораздо больше—какъ человъкъ, въ своей частной жизни (которой я не касался), чёмъ въ своихъ произведеніяхъ. Не всякій пишущій выражаеть себя въ своемъ писательствъ (этимъ я не имъю въ виду художниковъ, поэтовъ). Недаромъ и нѣкоторые изъ собесѣдниковъ Бѣлинскаго находили его письма интереснъе его писаній, а его разговоры интереснъе его писемъ. И теперь г. Ляцкій, какъ я упомянулъ раньше, считаеть Бълинскаго «свътящимся человтькомь»; онъ же думаеть, что «его письма переживуть его статьи». Действенное, творческое начало Бълинскаго, въроятно, уходило не столько въ его дъла, сколько въ его дни, въ самую жизнь. И какъ разъ потому, что, въ противность указанію П. Н. Сакулина, я не забыль, а помниль свой тезись: «существенно, кто испытываеть воздъйствія среды, а не то, какія это воздъйствія», -- какъ разъ ноэтому, помня кто Бълинскаго, я и пришелъ къ своему выводу, что онъ былъ Перъ Гюнтомъ русской критики. Испытываетъ вліянія всякій; но одни противопоставляють имь себя, глубоко ихъ перерабатываютъ, изъ чужого дълаютъ свое; другіе же навсегда остаютси измѣнчивы, внѣшни, поверхностны. Такъ какъ духовное кто Бълинскаго-писателя, по моему, состояло, кромъ чисто-словеснаго дарованія, въ легкой возбудимости, въ живомъ темпераментъ, въ постоянномъ и безпредметномъ кипъніи, не содержало въ себъ субстанціальнаго зерна (субстанція была не въ интересномъ для Россіи Бълинскомъ, а въ Виссаріонъ Григорьевичь), то чужія идеи мало шли ему въ прокъ, и онъ не сдълался тъмъ истиннымъ мыслителемъ, который представляеть собою органическое единство великаго ума и великаго сердца, цѣльную и могучую натуру.

И если П. Н. Сакулинъ насмъшливо утверждаетъ, что я не нашелъ въ Бълинскомъ «дъйственной души, а такъ какую-то студенистую массу, которая то расширяется, то сжимается, принимаетъ разнообразныя формы», то противъ такого опредъленія (впрочемъ, не моего, а именно г. Сакулина) не всегда протестовалъ бы и самъ Бълинскій, который даже сходное выраженіе о себъ употребилъ: «изръдка довольно сильная, но чаще расплывающаяся натура» (Письма, II, 347).

Тѣ признаки «психологической самостоятельности» Бѣлинскаго, которые я назвалъ нѣсколькими строками выше, были перечислены мною и въ моемъ силуэтѣ; оттого неправиленъ упрекъ г. Ч. В—скаго, будто я «не попытался даже опредѣлитъ, въ чемъ же она состояла»,—не говоря уже о томъ, что вѣдъ весь мой очеркъ, вся моя характеристика Бѣлинскаго и является посильнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ.

Такъ какъ мой этюдъ явился для второй статьи П. Н. Сакулина «Психологія Бълинскаго», какъ онъ самъ говоритъ, только «поводомъ» и эта статья въ основной своей части по существу вполнъ самостоятельна и сохраняеть всъ свои права, даже и не какъ возражение мнъ, то я и не обязанъ слъдить за тъмъ, насколько върно изображаетъ почтенный авторъ психическую жизнь Бълинскаго, насколько точно рисуеть онъ ея «типъ». Самъ П. Н. Сакулинъ утверждаеть, что другіе оппоненты уже сдълали мнъ «немало цънныхъ фактическихъ возраженій»; онъ же, съ своей стороны, хотълъ бы сосредоточиться, «главнымъ образомъ, на личности Бълинскаго, на его психологіи», такъ какъ это-де «имъетъ первенствующее значение въ возникшей полемикъ». Эта психологія для г. Сакулина—«большая посылка», обусловливающая все построение моего силуэта, все главное въ моей характеристикъ Бълинскаго. Въ свою очередь, въ томъ умозаключеніи, которое строить П. Н. Сакулинь для характеристики моего силуэта, т. е. моего пониманія психологіи Бѣлинскаго, большою посылкой является, какь я уже показаль,... большое недоразумъніе. Оно состоить въ невърной мысли моего оппонента, будто я отказываю Бълинскому въ психологической самостоятельности, въ самодовлъющей душевной личности. Воть почему, выяснивь, что здъсь - именно недоразумѣніе, что у меня въ силуэтъ всъми буквами о существованіи въ Бълинскомъ психологической самостоятельности напечатано, я имью право отвычать только на ты фактическія опроверженія, которыя, по словамь П. Н. Сакулина, предъявили мнъ другіе рецензенты, и только на тъ, фактическія тоже, указанія, которыя въ своей работъ сдълалъ мнъ самъ г. Сакулинъ. Этимъ, повторяю, ограничиваются мои обязанности по отношенію къ его статьъ, какъ возраженію на мою статью.

Но, не обязанный провърять, законно и правильно ли П. Н. Сакулинъ въ своемъ обще-психологическомъ и характерологическомъ экскурсъ причисляетъ Бълинскаго «къ категоріи эмоціональныхъ характеровъ (по «классфиикаціи Бена») или «къ категоріи активно-эмоціональныхъ» (по «терминологіи Кейра»); освобожденный отъ необходимости говорить по существу этой коренной части его очерка и въ данномъ пунктъ съ авторомъ спорить (къ тому же, съ точки зрънія П. Н. Сакулина, это

было бы и безнадежно, такъ какъ въ объихъ своихъ статьяхъ онъ прямо заявляеть, что я, по самому складу своей личности, просто органически неспособенъ постигнуть Бълинскаго и его «сложная натура недоступна пониманію» моему),—я все-таки позволю себъ, въ порядкъ необязательности, отмътить, что въ своей работъ П. Н. Сакулинъ впалъ въ роковую методологическую ощибку.

Я опять долженъ напомнить основное правило научной психологіи: методу самонаблюденія нужень коррективь въ методъ наблюденія. Г. Сакулинъ почти совсъмъ упустилъ это изъ виду. Опредъляя психику Бълинскаго по его письмамъ, онъ опирается на то, что о ней же говорить самъ Бълинскій. Душу знаменитаго критика онъ выясняеть по тъмъ субъективнымъ показаніямь, которыя даеть о своей душь знаменитый критикъ. Нъсколько десятковъ цитатъ, приводимыхъ г. Сакулинымъ, имъють своимъ подлежащимъ я. Лишь три-четыре цитаты принадлежать А. Григорьеву, М. М. Попову, Герцену, В. Ө. Одоевскому. При этомъ, что особенно важно, весь матеріалъ писемъ Бълинскаго не использованъ въ той интересной, существенной и большой части его, гдъ критикъ самонаблюденіемъ спеціально не занимается, гдъ о своей психикъ онъ прямо и преднамъренно не повъствуеть, но гдъ она, несмотря на это или именно поэтому, выступаеть особенно ярко и непосредственно. Тамъ, гдъ П. Н. Сакулинъ долженъ былъ бы посмотръть со стороны, онъ смотрить глазами Бѣлинскаго. Тамъ, гдѣ нужно бы зоркое наблюденіе, П. Н. Сакулинъ довърчиво слъдуеть самоощущенію наблюдаемаго. Какимъ свой характеръ характеризуетъ Бълинскій, такимъ его и принимаетъ П. Н. Сакулинъ. Онъ слишкомъ говорить его словами. Ясно, какая получается отсюда нежелательная (или для почитателей Бълинскаго-желательная) односторонность.

Кто станеть оспаривать цѣнность для психолога интроспекціи Бѣлинскаго, его собственныхъ откровеній и откровенности? Но кто же не согласится, что для психологическаго портрета (или даже силуэта) этихъ данныхъ мало? Вѣдь, если бы мы хотъли, напримъръ, уяснить себъ этическій обликъ Бълинскаго, мы, конечно, приняли бы во вниманіе, что самъ онъ неоднократно именуеть себя благороднымъ (хотя бы въ письмъ къ Станкевичу 1839 г.: «ты самъ знаешь, что я человъкъ необыкновенно благородный и до всего унижусь—только не до подлости»; или, въ разныхъ другихъ письмахъ: «я дъйствовалъ съ благородной цълью»; «я страдалъ, потому что былъ благороденъ», и т. д.); но этой самохарактеристикой ни въ какомъ случаъ нельзя было бы удовлетвориться.

И если по поводу недавно опубликованныхъ писемъ знаменитаго критика П. Н. Сакулинъ выражаетъ надежду: «Самъ Өома невърующій можетъ вложить теперь свои персты въ язвы Бълинскаго и долженъ увъроватъ въ него», то я, наоборотъ, не только укръпился нынъ въ своей нерадостной позиціи Өомы, но даже и П. Н. Сакулину, какъ автору статьи «Психологія Бълинскаго», ръшился бы пожелать больше научнаго скептицизма. Въ наукъ тъмъ върнъе, чъмъ скупъе наша довърчивость.

Еще кое въ чемъ долженъ я отвътить П. Н. Сакулину. Что «въ Пушкинъ прославленный критикъ увидълъ только «русскаго помъщика», —этого я, вопреки неточной цитать г. Сакулина, не говорилъ; а что «русскаго помъщика» онъ увидълъ въ немъ, это я, дъйствительно, сказалъ. И что же? развъ это не върно, развъ не настаиваетъ Бълинскій на «паоосъ помъщичьяго принципа» у Пушкина, на его «генеалогическихъ предразсудкахъ»? Не за это ли, между прочимъ, Г. В. Плехановъ призналъ у Бѣлинскаго чутье «геніальнаго соціолога»? По мысли П. Н. Сакулина, это въ статьяхъ знаменитаго критика о Пушкинъ несущественно, и «до Г. В. Плеханова никто, въ сущности, и не обращалъ вниманія на тъ фразы Бълинскаго, гдъ говорится о Пушкинъ, какъ «русскомъ помъщикъ»... Нътъ, отчего же? Если писателя читать внимательно, то прочтешь у него все, что онъ написалъ. И во второй своей стать в самъ П. Н. Сакулинъ призналъ, что и до г. Плеханова этого «русскаго помъщика» замътили.

Когда я говорилъ, что Бълинскій какъ-то не уставаль отъ

беллетристики и ею заслонялъ передъ собою жизнь, что онъ не оградилъ себя отъ нравственной пыли своего ремесла, я имѣлъ въ виду не частныя заявленія въ письмахъ, на которыя указываеть П. Н. Сакулинъ, не эти обычные вопли журналиста, усталаго работника,—я имѣлъ въ виду стать Вълинскаго, и вотъ въ нихъ, внутри, въ его книгахъ, мнѣ чуялась только книжность, неутомленность души отъ литературы, присутствіе журнальныхъ дрязгъ и отсутствіе какой-то живой, надлитературной заинтересованности. Въ письмахъ же Бълинскаго, дѣйствительно, часты жалобы на «ненавистную литературщину», на «грязь и соръ россійской словесности», на «занятіе пошлостью и мерзостью, извѣстною подъ именемъ русской литературы».

Въ заключеніи своей второй статьи П. Н. Сакулинъ говорить: «Мы не повторимъ мнѣнія Ю. И. Айхенвальда, что ходъ русской культуры зависѣлъ отъ одного Бѣлинскаго». Да, г. Сакулинъ не повторитъ за мною этого мнѣнія, потому что я его не высказывалъ. Я сказалъ другое: «въ высокой мюрю какъ разъ Бѣлинскій повиненъ въ томъ, что русская культурная традиція не имѣетъ прочности». Я, значитъ, утверждаю, что Бѣлинскій имѣлъ значительное вліяніе на русскую культурную традицію; въ такой общей формѣ со мною вполнѣ согласенъ и П. Н. Сакулинъ.

По поводу моего упрека, что Бълинскій, «критикъ, другихъ критиковъ называлъ критиканами», г. Бродскій направляєть ко мнъ лирическое обращеніе: «подумайте, современный критикъ, какъ иначе можно назвать тъхъ», кто въ своихъ рецензіяхъ говорилъ разныя глупости,—«а, въдь, Бълинскій именно этихъ «критиковъ» имълъ въ виду (т. V, стр. 483—4)».

На это я, современный критикъ, подумавъ, отвъчаю: вопервыхъ, не только на цитируемую Н. Л. Бродскимъ страницу опирался я; во-вторыхъ, какую бы нелъпость ни печатали критики, другому критику не слъдуетъ называть ихъ критиканами: это не по-товарищески; въ-третьихъ, ужъ если г. Бродскій цитируеть V т., 483—484 стр., то почему же онъ не прибавилъ, что тамъ Бълинскій признакомъ «критикана», т. е. необычайной глупостью, считаеть и такое мнѣніе, въ силу котораго «печатно называють плохимъ» романъ Купера «Патфайндеръ», —это, на оцѣнку Бълинскаго, «геніальное произведеніе, какимъ только ознаменовалась, послѣ Шекспира, творческая дѣятельность»? И возникаеть опасный для Бълинскаго вопросъ, кто же въ данномъ случаѣ—критикъ и кто—«критиканъ».

Мы вообще далеко расходимся съ Н. Л. Бродскимъ во взглядахъ на Бълинскаго. Оттого мой оппонентъ «только съ удивленіемъ пожимаетъ плечами» даже на такое мое невинное и неоспоримое мнъніе, что знаменитый критикъ «слишкомъ цитируетъ», «слишкомъ пересказывастъ содержаніе книги». Я вспоминаю добродушныя слова Полевого, переданныя Бълинскому Кольцовымъ: «я не знаю, что онъ за чудакъ такой (Бълинскій), пишетъ, да и только—посмотрите, Бога ради—цълые монологи, цълыя сцены изъ Гамлета, для чего это—не знаю, въдь, Гамлета всъ знаютъ. Довольно бы, кажется, было два-три стиха для примъра, а ниже сказать, «и прочее», вотъ докуда». И какъ Бълинскій цитировалъ «Гамлета», такъ онъ цитировалъ все.

Само собою разумѣется, вѣрный своему методу, г. Бродскій не забываеть прибавить, что я самъ таковъ, что это я чрезмѣрно цитирую. Здѣсь я позволю себѣ сказать два слова рго domo mea, потому что въ нихъ будетъ содержаться и указаніе на Бѣлинскаго. Въ «Montagsblatt der St.-Petersburger Zeitung» отъ 19 февраля 1907 г. я въ статъѣ г. Arthur Luther'а о моихъ «Силуэтахъ» имѣлъ удовольствіе прочесть, между прочимъ, такія строки (переведу ихъ съ нѣмецкаго): «Техника цитированія у большинства русскихъ критиковъ такова, что, право, ее не слишкомъ трудно усвоить себѣ... Даже Бѣлинскій, у котораго по истинѣ было что сказать своего, все-таки не обходился почти никогда безъ цитатъ въ цѣлыя страницы. Метода Айхенвальда—совсѣмъ другая».

Н. Л. Бродскому «не хочется говорить о странности мнѣнія, будто Бѣлинскій «травилъ» все время Полевого: подлинныя статьи его краснорѣчиво утверждаютъ противное».

Что «все время», я не говорилъ (зачѣмъ же искажать мое утвержденіе?), а что «травилъ»—да (именно совпаденіе этихъ словъ у С. А. Венгерова и у меня, какъ мы видѣли, показалось Н. Л. Бродскому подозрительнымъ). Г. Ч. В—скій тоже въ этой моей квалификаціи отношенія Бѣлинскаго къ Полевому видитъ одно изъ проявленій моей «непомѣрной придирчивости» и утверждаетъ, что «вѣдъ «травили» Полевого, если здѣсь умѣстно это слово, за то, что онъ во второй половинѣ дѣятельности примкнулъ къ позорному въ исторіи русскаго общества союзу Булгарина и Греча; Бѣлинскому же принадлежитъ не только извѣстная общая, глубоко сочувственная посмертная оцѣнка Полевого въ отдѣльной статьѣ о немъ, но подобная же въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ оцѣнка дана также и при жизни Полевого въ отзывѣ объ Очеркахъ русской литературы»...

Посмертная оцівнка Полевого! Какою, невіздомо для г. Ч. В-скаго, звучить это горькой ироніей! В'тдь травить можно только живого. До сихъ поръ нельзя безъ острой жалости, безъ волненія читать потрясающія письма Полевого къ брату Ксенофонту; они показывають, какъ бился несчастный писатель и его семья въ тискахъ нужды и недуговъ, и правительственныхъ гоненій; и Бълинскій все это зналъ, и Бълинскій усердно и злорадно подливалъ свой ядъ въ нестерпимо горькую чашу того: съ къмъ раздълялъ недавно физическую и нравственную хлѣбъ-соль. Злыя и несправедливыя статьи печаталь онъ противъ него, обрекая себя «на раздавленіе ядовитой гадины» и радуясь, что «стрълы доходять до него, и онь бъсится» (Письма, II, 42) Какой отравой напитывало свои литературныя стрѣлы «великое сердце» Бълинскаго, можно видъть особенно потому, что его письма вводять нась въ эту ужасную лабораторію и мы читаемъ въ нихъ о Полевомъ по истинъ каннибальскія строки. Воть, напримъръ: «Нъть, никогда не раскаюсь я въ моихъ нападкахъ на Полевого, никогда не признаю ихъ ни несправедливы-

ми, ни даже преувеличенными. Если бы я могъ раздавить моею ногой Полевого, какъ гадину-я не сдѣлалъ бы этого только потому, что не захотълъ бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавецъ, подлецъ первой степени: онъ другъ Булгарина, protégé Греча... пріятель Кукольника; безсовъстный плуть, завистникъ, низкопоклонникъ, дюжинный писака, покровитель посредственности, врагь всего живого, талантливаго... Онъ проповъдуеть ту расейскую дъйствительность, которую такъ энергически нъкогда преслъдовалъ, которой нанесъ первые сильные удары... Для меня уже смѣшно, жалко и позорно видѣть его фарисейско-патріотическія, предательскія драмы народныя... его дружба съ подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, отъ которыхъ гибнетъ наша литература, страждутъ истинные таланты, и лишено силы все благородное и честноенъть, брать, если я встръчусь съ Полевымъ на томъ свътьи тамъ отворочусь отъ него, если только не наплюю ему въ рожу... Не говори мнъ больше о немъ-не кипяти и безъ того кипящей крови моей. Говорять, онъ недавно быль боленъ водяною въ головъ (отъ подлыхъ драмъ)-пусть заведутся черви въ его мозгу, и издохнеть онъ въ мукахъ-я радъ буду. Богъ свидътель—у меня нътъ личныхъ враговъ, ибо я (скажу безъ хвастовства) по натуръ моей выше личныхъ оскорбленій, но враги общественнаго добра-о, пусть вывалятся изъ нихъ кишки, и пусть повъсятся они на собственныхъ кишкахъ-я готовъ оказать имъ послъднюю услугу-расправить петли и надъть на шеи... И ты (Боткинъ) заступаешься за этого человѣка, ты (о, верхъ наивности!), думаешь, что я скоро раскаюсь въ своихъ нападкахъ на него. Нътъ, я одного страстно желаю въ отношеніи къ нему: чтобъ онъ валялся у меня въ ногахъ, а я каблукомъ сапога размозжилъ бы его изсохшую, фарисейскую, желтую физіономію. Будь у меня 10.000 рублей денегь—я имѣлъ бы полную возможность выполнить эту процессію» (Письма, II, 196-199).

Да, онъ умълъ ненавидъть, Виссаріонъ Бълинскій!.. За что же, однако, эта возмутительная ненависть, дикое сладострастіе

этой «процессіи»? Какъ мы видѣли, самъ гуманный критикъ (да и защитники его, гг. Ч. В-скій и П. Н. Сакулинъ) объясняють ее характеромъ литературной дѣятельности Полевого въ ея второй періодъ. Но если вспомнить, что приведенныя строки Бълинскаго написаны очень скоро послъ статей о Бородинскомъ сраженіи и о Менцелъ, что самъ Бълинскій никогда не былъ бъденъ патріотизмомъ и націонализмомъ, что патріотическія пьесы Николая Полевого были вполнъ искренни, то упомянутое объяснение покажется весьма неубъдительнымъ. Ничего столь дурного не дълалъ и не писалъ несчастный Полевой, чтобы, даже принимая во внимание темпераменть и характерь Бълинскаго, можно было то кровожадное чувство, какое онъ испытываль къ своему бывшему покровителю, хоть приблизительно истолковать общественностью. Панегиристы знаменитаго критика отвергають ту верс ю, которую для освъщенія этого чувства предложилъ братъ Полевого, Ксенофонтъ. Изъ его «Записокъ» и изъ писемъ Кольцова, который, по настоятельному требованію Бълинскаго, передаваль ему все, что говориль о немъ, Бълинскомъ, Полевой, мы знаемъ, что послъдній не принялъ въ свой журналъ «Сынъ Отечества» огромной статьи Бълинскаго (о «Гамлетъ»), не нашелъ ему литературныхъ занятій въ Петербургь, не выписаль его туда изъ Москвы, такъ какъ-сообщалъ Николай Полевой брату—во-первыхъ, «надобно дать время всему укласться, и затягивать человъка сюда, когда онъ при томъ такой неукладчивый (и довольно дорого себя цънитъ), было бы неосторожно всячески, и даже по политическимъ отношеніямъ»; и, во-вторыхъ, «начисто ему поручить работу нельзя, при его плохомъ знаніи языка и языковъ и недостаткъ знаній и образованности». Къ этому прибавлялъ Николай Полевой: «Все это нельзя ли искусно объяснить, увъривъ при томъ (что, клянусь Богомъ, правда), что какъ человъка я люблю его и радъ дълать для него что только мнъ возможно. Но, при объясненіяхъ, щади чувствительность и самолюбіе Бълинскаго. Онъ достоинъ любви и уваженія, и бъда его одна-нелъпость». Такъ эту версію, т. е. предположеніе,

что Бълинскій быль озлоблень на Полевого и восемь лъть мстилъ ему-за отказъ въ напечатаніи статьи (и за переданное Кольцовымъ и Ксенофонтомъ Полевымъ общіе отзывы объ авторъ ея). — это ръшительно отклоняеть, напримъръ, С. А. Венгеровъ, иронически восклицая: «объясненіе необыкновенно правдоподобное». Я же лично вынуждень здъсь выступить какъ advocatus diaboli и заявить, что психологически неправдоподобнымъя считаю, наобороть, объяснение исключительной ненависти Бълинскаго изъ причинъ идейныхъ. Если, «какъ воронъ на падаль», накидывался Бълинскій на каждую строку Полевого и заранъе видълъ въ немъ добычу своихъ литературныхъ набъговъ, свою обреченную монополію («Полевой—да не прикоснется къ нему никто, кромъ меня! Это моя собственность, собственность по праву»); если, впадая въ беззастънчивое противоръчіе съ самимъ собою, онъ, напримъръ, издъвался надъ тъмъ самымъ переводомъ «Гамлета», принадлежащимъ Полевому, который раньше, до личной размолвки съ переводчикомъ, вызывалъ у него безудержное восхищение, то слишкомъ обидно для русской общественности объяснять это ея интересами, вдохновляющей заботой о нихъ. А для памяти Полевого обидно то, что г. Ч. В-скій непостижимымъ образомъ находитъ «подобную же въ нъкоторыхъ отношеніяхъ оцінку» его діятельности, т. е. подобную «глубоко сочувственной», —въ стать в Бълинскаго объ «Очеркахъ русской литературы», той самой статьъ, которая полна несправедливости и пристрастія и о которой, какъ бы потирая руки; саркастически увѣдомлялъ Краевскаго безжалостный авторъ: «Нынъшній день оканчиваю довольно общирное «похвальное слово» другу моему, Николаю Алексъевичу Полевому». Если, говоря о своемъ «другь» въ прошедшемъ времени, какъ о человъкъ поконченномъ. Бълинскій иногда роняеть вынужденныя и блъдныя слова признанія о его прежнихъ заслугахъ, то они совершенно исчезають въ общемъ потокъ мстительной злобы. А қогда затравленный Полевой умеръ, тогда... тогда Бълинскій, дъйствительно, написаль сочувственную статью о своей, между прочимъ, жертвъ и въ одномъ мъстъ выразился

про него, что это быль человъкъ мпостоянно раздражаемый самыми возмутительными въ отношении къ нему несправедливостями»...

Даже такой поклонникъ «лучезарнаго блеска безпримърносвътлой личности» Бълинскаго, какъ С. А. Венгеровъ (Сочин. Бълинскаго, III, 523),—и тотъ долженъ былъ напослъдокъ, не въ III, а въ V томъ (стр. 552), констатировать въ своемъ любимцъ по отношенію къ Полевому «безконечную несправедливость и жестокость»,—и къ тому же проявленныя тогда, когда, разоренный послъ закрытія правительствомъ «Московскаго Телеграфа», Полевой изнывалъ въ борьбъ съ градомъ несчастій.

Такъ не зря ли обидълъ меня г. Ч. В—скій, считая мою характеристику отношеній Бълинскаго къ Полевому «непомърной придирчивостью»? Такъ не лучше ли, не благоразумнъе ли поступилъ г. Бродскій, которому—правда, по особымъ соображеніямъ—вовсе «не хотълось говорить» объ этой моей «странной» характеристикъ?

Въ одномъ пунктъ я долженъ сдълать уступку Н. Л. Бродскому (отчасти и П. Н. Сакулину, тоже, на 116 стр. своей второй статьи, слегка касающемуся даннаго вопроса): я не имълъ достаточно основаній сказать, что Бълинскій «своими ошибками всецтьло обязанъ самому себъ»; подчеркнутое слово нужно было бы замънить другимъ, менъе ръшительнымъ, такъ какъ, при общей внушаемости Бълинскаго, дъйствительно, слъдуетъ признать, что не только правильное и хорошее могь онъ брать у другихъ, но и дурное. Однако, и здъсь я вынужденъ отмътить, что г. Бродскій защищаеть Бълинскаго оть меня не такъ, какъ, съ его точки эрънія, было бы надо, и противоръчить самому себъ. «Кстати», спрашиваеть мой оппоненть, «какъ примирить его (мое) утвержденіе, что «Бѣлинскій свое хорошее и правильное получалъ оть другихъ—своими ошибками всецьло обязань самому себь», съ фактомъ, что Станкевичъ считалъ пушкинскія сказки «ложнымъ родомъ», «просто дрянью», «Конька-Горбунка» находилъ

«несноснымь»?» (стр. 15). Г. Бродскій простодушно не зам'ячаеть, что такой постановкой вопроса онь, уже во второй разь, выдаетъ Бѣлинскаго головой: значитъ, не возможно, чтобы Бѣлинскій думаль не такь, какь Станкевичь, или додумался до своихь взглядовъ на пушкинскія сказки и «Конька-Горбунка» самостоятельно? Значить, я правь, что Бълинскій вообще быль отголоскомъ чужихъ мнѣній (противъ чего, однако, возражаеть г. Бродскій)? Вѣдь если стать на скользкую для Бѣлинскаго точку зрѣнія его защитника, то послѣдній должень бы и мнѣ дать право строить, напримъръ, такія умозаключенія: оттого Бълинскій высоко ціниль Лермонтова, что Краевскій, съ которымь нашъ критикъ въ то время былъ очень близокъ, считалъ Лермонтова «мъркой всего великаго» («Письма», ІІ, 252); оттого Бълинскій призналь Гоголя, что, по свидътельству С. А. Венгерова (Собраніе его сочиненій, 1913, II, стр. 175), Гоголь «быль истиннымъ любимцемъ всего кружка» Станкевича и «въ общемъ, увлечение Бълинскаго Гоголемъ не составляетъ его личной заслуги» (стр. 177); оттого Бълинскій привътилъ Кольцова, что на Кольцова обратилъ вниманіе, его открылъ Станкевичъ. Но такого права г. Бродскій не дасть же мнъ?

На мое утвержденіе, что Бѣлинскій быль «несвѣдущь», Н. Л. Бродскій отвѣчаеть «только ссылкой на сочиненія подлиннаго Бѣлинскаго да словами ученаго современника Бѣлинскаго (Грановскаго): «противнѣе всего было слушать сужденія о невѣжествѣ Бѣлинскаго!» (стр. 35).

У Грановскаго этого нътъ; у *подлиннаго* Грановскаго сказано такъ: «Противнъе всего было слушать сужденія *С—ва* (*Строева*) и *Бодянскаго* о невъжествъ Бълинскаго» (Т. Н. Грановскій и его переписка, М. 1897, II, 341).

Г. Ивановъ-Разумникъ не всегда логиченъ. Онъ утверждаетъ, что похоронить придется не Бълинскаго, а мою статью, на которой надо поставить «безпощадный крестъ»; и это—не потому, чтобы я «дерзнулъ» возстать на Бълинскаго: «дъло не въ дерзости, а въ искренности». Черезъ нъсколько строкъ авторъ признаетъ мою искренность: значитъ, хоронитъ меня, какъ писателя, не за что? Но нътъ, разрушая логичность своего построенія, кромъ искренности, уже новое требованіе предъявляетъ г. Ивановъ-Разумникъ: «наличность основательнаго фактическаго багажа».

По существу онъ правъ въ своихъ обоихъ требованіяхъ; но ни въ одной фактической ошибкъ онъ меня не уличилъ, скудости моего багажа ни въ чемъ не показалъ. И мнъ думается, что весь мой споръ съ противниками, въ частности, съ г. Ивановымъ, касается не фактовъ, а ихъ истолкованія. Такъ думаетъ, во второй своей статьъ, и П. Н. Сакулинъ: «все дъловъ новомъ истолкованіи ранъе извъстныхъ фактовъ, въ своемъ углъ зрънія» (стр. 89).

Но, какъ бы то ни было, благожелательный совътъ г. Иванова-Разумника «пополнить свой багажъ» я свято исполняю и

буду исполнять: въкъ живи-въкъ учись.

Зато я не послѣдую другому его совѣту—сдѣлать такой наивно-статистическій опыть: «взять знаменитыя «пушкинскія статьи» Бѣлинскаго и подсчитать въ нихъ, съ одной стороны, всѣ ошибочныя сужденія о Пушкинѣ, ...а съ другой стороны,— всѣ сужденія, сохранившія силу и до нашихъ дней»,—какихъ окажется больше? Для меня гораздо важнѣе этой ариометики общій духъ, общій смыслъ статей Бѣлинскаго, синтетическая оцѣнка Пушкина; какова же она, я на это указалъ выше.

Нелогиченъ г. Ивановъ-Разумникъ и въ томъ отношеніи, что, «хороня» мою статью о Бълинскомъ, онъ на ея основаніи хоронитъ и мой методъ вообще. Но развъ въ томъ, что статья моя, по мнънію г. Иванова-Разумника, такъ дурна, виновать непремънно мой методъ, а не я самъ? Въдь методъ-то, можетъ быть, и хорошъ, а только примънила его неискусная и невъже-

ственная рука. Дѣло, можеть быть, не въ методологіи, а въ самомъ методологѣ. Г. Ивановъ самъ же недавно утверждалъ, что «похоронить» силуэтъ надо за мое незнаніе фактовъ; а вѣдь знать факты—этого, конечно, въ первую очередь требуетъ всякій методъ, въ томъ числѣ и мой. И если мой оппонентъ справедливо замѣчаетъ, что «всякая теорія имѣетъ право на существованіе—до тѣхъ поръ, пока не разобьетъ себѣ лба о факты», то лобъ моей теоріи, слава Богу, остался цѣлъ, потому что и не было тѣхъ фактовъ, о которые онъ могъ бы разбиться. Во всякомъ случаѣ, повторяю, всю отвѣтственность за свою статью я возлагаю исключительно на себя, а не на свою теорію.

Г. Ивановъ-Разумникъ нелогиченъ и въ концѣ своей рецензіи: тамъ, иронизируя надъ моими словами: «благочестивому сказанію о Бѣлинскомъ соотвѣтствуетъ, чтобы и другіе честно сказали о немъ свою правду», онъ заявляетъ о себѣ, что «тоже имѣетъ право «честно сказать свою правду»... ну хотя бы о современной турецкой литературѣ», но пока отъ этого воздержится, такъ какъ «въ этомъ вопросѣ ему еще надо сильно пополнить свои свѣдѣнія». Да? Въ такомъ случаѣ, г. Ивановъ-Разумникъ ошибается: онъ не имѣетъ права говорить о турецкой литературѣ.

Многіе оппоненты указывають на то, что я противор'вчу самому себ'в, когда въ конц'в своего этюда говорю: «и не легко все-таки отворачиваться и отъ того реальнаго челов'вка, который им'влъ же, значить, въ себ'в н'вчто большое, если могъ оставить посл'в себя такой прекрасный сл'вдъ и сум'влъ зав'вщать своему имени такой лучистый ореолъ».

Здѣсь я, дѣйствительно, впалъ въ ошибку. Что не легко отворачиваться отъ Бѣлинскаго, это призна̀етъ каждый изъ моихъ противниковъ, и всѣ поймутъ психологію невольнаго разрушителя своихъ же цѣнностей. Естественно и то, что, придя къ безотраднымъ выводамъ о знаменитомъ критикѣ, я не могъ не спросить себя, почему же онъ знаменитъ,—нѣтъ вѣдь дыма

безъ огня. И воть здъсь, въ своемъ отвътъ, я быль неправъ: въ области духовныхъ явленій бываеть и безъ огня дымъ, и не всегда слава заслужена; мое значить въ приведенной выше фразъ, во всякомъ случаъ, не правомърно. Я только въ оправдание себъ скажу, что, не найдя большого Бълинскаго въ его книгахъ, я подумаль, не шла ли отъ него, просто какъ отъ личности, какъ отъ «реальнаго человѣка», нѣкая нравственная сила, то излучение души, которое можеть само по себъ, помимо объективныхъ заслугъ, возжигать надъ именемъ ея обладателя посмертный ореолъ славы. Но теперь, еще разъ обдумавъ совокупность его писемъ (какъ извъстныхъ раньше, такъ и опубликованныхъ впервые), этихъ слъдовъ реальной жизни, я долженъ отъ своей мысли отказаться. По прежнему я считаю, что легенда Бълинскаго была дорога и плодотворна и что «журналисть, другъ и ревнитель книги», онъ литературную новинку, «новую книгу», возвель на степень событія, что онъ одинь изъ первыхъ навсегда привилъ русскому обществу устойчивый интересъ къ русской литературъ и потребность разръзать послъдній выпускъ журнала. По прежнему, его исторической роли я не отрицаю. По прежнему, я понимаю красоту его идеализованнаго лица. Но въ реальномъ Бълинскомъ большого-то человъка именно и не было.

Мнѣ кажется, я исчерпаль всѣ фактическія указанія своихъ оппонентовь. Читатели видять, должень ли я отказаться оть своей характеристики Бѣлинскаго. Но я обѣщаль коснуться еще вопроса о томь, соблюль ли я въ своемъ этюдѣ пропорціи, правильно ли распредѣлилъ свѣтъ и тѣни знаменитаго критика. Въ самомъ дѣлѣ: то, что я цитироваль,—изъ Бѣлинскаго; то, что цитировали мои противники,—тоже изъ Бѣлинскаго: что же для него характернѣе, что его опредѣляетъ? Къ сожалѣнію, никто изъ рецензентовъ не высказался, принимаютъ ли они мои слова: «Въ пестромъ наслѣдіи его (Бѣлинскаго) сочиненій, въ ихъ диковинной амальгамѣ, вы можете найти все, что угодно,—

и все, что не угодно... На него нельзя опереться, его нельзя цитировать, потому что каждую цитату изъ Бълинскаго можно опрокинуть другою цитатой изъ Бълинскаго». Если мнъ позволять считать молчаніе знакомъ согласія, согласія со мною, то въдь это убійственно для Бълинскаго. Самый фактъ этой незаконной роскоши, самый фактъ двухъ мнъній о каждомъ предметъ свидътельствуеть противъ расточительнаго владътеля такихъ противоръчій; передъ минусами невольно поблъднъютъ плюсы, дурное Бълинскаго бросаеть свою губительную тънь на его хорошее.

Я учитываю его эстетическія заслуги, но сравниваю ихъ съ его эстетическими гръхами. Я вспоминаю, напримъръ, его непростительное отношеніе къ Пушкину, его слова, что «сатира не можеть быть художественнымъ произведеніемъ» (исчезаеть цѣлое теченіе отъ Ювенала до Щедрина), его слова, что «фантастическое въ наше время можетъ имъть мъсто только въ домахъ умалишенныхъ, а не въ литературъ, и находиться въ завъдываніи врачей, а не поэтовъ» (какой вандализмъ, какое разореніе литературы, если отнять отъ нея фантастику!); я вспоминаю, что «Германа и Доротею» онъ называлъ «отвратительной пошлостью» и не находилъ поэзіи въ «Божественной комедіи»; я въ душевномъ изнеможеніи думаю о томъ, что когда онъ стояль передъ Сикстинской Мадонной, то она показалась ему... сотте il faut-«idéal sublime du comme il faut»; я припоминаю его мысль, что «о такихъ предметахъ, какъ живопись, теперь такъ странно читать.. длинныя статьи: такъ думають многіе» (Письма, III, 119); я отдаю себѣ отчеть въ томъ, что восходившей въ его время звъзды Тютчева онъ не замътилъ; я вспоминаю и многое другое, о чемъ отчасти я уже писалъ въ своемъ силуэтъ,--и мнъ кажется тогда, что, отрицая виноватаго передъ Дантомъ, Гете, Рафаэлемъ, Пушкинымъ, отрицая Бълинскаго-эстетика, я пропорціи соблюдаю.

Я кладу на одну чашку въсовъ письмо къ Гоголю, а на другую—то, что этому письму предшествовало и что за нимъ

слъдовало, и... и я не знаю, какое же было у него общественное исповъданіе.

Я привътствую его философскія устремленія, но когда я думаю о томъ, что обычная и естественная эволюція ведеть людей отъ матеріалистическаго отрочества, отъ наивнаго утилитаризма гимназическихъ дней—дальше и выше, а Бълинскій, разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ, продълалъ дорогу обратную и уронилъ ту истину глубокой мысли, которую онъ уже воспринялъ отъ нъмецкаго идеализма; когда я припоминаю, что философъ и критикъ Бълинскій былъ взрослымъ сначала, а дътство пережилъ потомъ,—я отказываюсь усматривать органичность въ его развитіи, я еще явственнъе вижу въ немъ Виссаріона-Отступника.

Мнъ очень нравятся его отдъльные афоризмы (примъры ихъ я привель въ своей статьъ; на меня въ его письмахъ произвели сильное впечатление такія строки, какъ, напримеръ: «я солдатъ у Бога: Онъ командуеть, я марширую»; или въ противоположномъ настроеніи явившійся ему смітлый образъ Брамы: «наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли-онъ слушаетъ ихъ съ цигаркою во рту»; или эта вѣрная мысль: «отъ Конта не пахнеть геніальностью»; или горькій вопль; «безсмертна одна смерть»; или тонкая критика нравственной теплицы-кружка, изъ котораго онъ долго не могъ вырваться на вольный воздухъ своей желанной «простоты»: «мы изъ грусти дълали какое-то занятіе и вели протоколы нашимъ ощущеньямъ и ощущеньицамъ». Но такъ велика его шаткость, его ненадежность, такъ много у него интеллектуальной черезполосицы, такъ перемежалъ онъ свое чужимъ, умное нелъпымъ, такъ опорочилъ онъ свое цънное своимъ дешевымъ, что даже тамъ, гдъ онъ значителенъ, даже тамъ, гдъ онъ выступаетъ Шекспиромъ, во мнъ, иногда наперекоръ очевидности, зарождается соблазнъ бэконіанской теоріи.

И оттого, когда меня упрекають (особенно гг. Ч. В—скій и Бродскій), что я «сосчиталь на солиць пятна и проглядъль его лучи», сравнивають меня съ крыловскимъ любопытнымъ и напоминають мнъ собственныя мои слова,

сказанныя по другому поводу: «сущность солнца не въ его пятнахъ», —то для меня ясно, что я и мои оппоненты разное значеніе, разный удѣльный вѣсъ придаемъ той или другой страницѣ Бѣлинскаго: что для нихъ второстепенно, то для меня важно; гдѣ для меня—суть Бѣлинскаго, тамъ для нихъ—подробности; даже и такъ бываетъ: что для нихъ—лучъ, то для меня—пятно, и наоборотъ. Объективное мѣрило для выбора намъ здѣсъ трудно найти. Гдѣ именно настоящій Бѣлинскій, —кто докажетъ? Дѣло рѣшается скорѣе интуиціей, непосредственнымъ впечатлѣніемъ; оттого это дѣло и спорно; оттого г. Ляцкій и находитъ, что «постигать» Бѣлинскаго «нужно» не мыслью, а «чувствомъ».

И уже потому одному П. Н. Сакулинъ не имълъ права за мое отрицаніе Бълинскаго отлучать меня отъ русской культурной традиціи,—при всъхъ своихъ блужданіяхъ, неизмъримо шире она и либеральнъе, чъмъ самъ Бълинскій и его защитники...

## Замъченныя опечатки.

Стран. 47 строка 8 сн. вмъсто видътъ надо видъть « « 6 сн. « говорить « говорить.

